

ISSN 0130-3800

საქართველოს  
ლიტერატურის

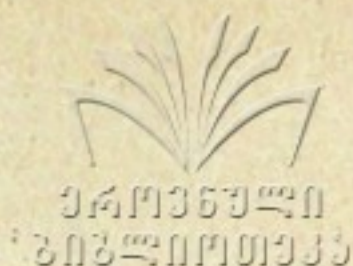
# ლიტერატურული საქართველო

1993

10.335/  
1993/2



7-8



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1993

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал выходит с июня 1957 года

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

НАИРА ГЕЛАШВИЛИ. «Амбры, умбры и арабы...» Повесть. Перевод Людмилы Кравченко . . . . .	3
КОБА ЦХАКАЯ. Искатели солнца. Дерево Ситтим. Рассказы . . . . .	36
ГЕОРГИЙ ГИГАУРИ. Стихи. Перевод Ларисы Фоменко . . . . .	48
ЛЕВАН ЧЕЛИДЗЕ. Намлулу, или Развороты старого пройдохи Жоры Гвасалиа. Окончание . . . . .	51
ГИВИ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Поэтическая проза . . . . .	139

### АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ В ГРУЗИИ

Дневник абхазки . . . . .	156
---------------------------	-----

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЛЕОНИД ЧЕЛИДЗЕ. Жизнь и текст Гиви Маргвелашвили . . . . .	150
--	-----

7-8

Учредители: Союз писателей Грузии  
Редакция журнала «Литературная Грузия»

<b>МАНАНА КВАЧАНТИРАДЗЕ. Исповедь по-эта</b>	164
<b>ДЖУЛЬЕТТА РУХАДЗЕ. Истинный сын Грузии (к 125-летию со дня рождения Тэдо Сахокиа)</b>	180

### ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

<b>ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ. Талант и жизнь — народу и Отечеству! (Юбилейное приветствие)</b>	185
---	-----

### ВСПОМИНАЯ УШЕДШИХ ДРУЗЕЙ

<b>НАНА КАНДЕЛАКИ. Рядом с Нодаром. Перевод Маки Имнадзе</b>	191
--	-----

### РЕЦЕНЗИЯ

<b>ГИВИ ОРАГВЕЛИДЗЕ. Из глубины</b>	208
-------------------------------------	-----

### КОНТАКТЫ

<b>ТЕНГИЗ КЕШЕЛАВА. Основоположник новейшей персидской литературы (к 90-летию со дня рождения Садека Хедаята)</b>	214
---	-----

### СПОРТ

<b>Испанское серебро грузинских шахматистов</b>	155
---	-----

### ПАМЯТИ ДРУГА

<b>ШОТА НИШНИАНИДЗЕ. Морис</b>	220
--------------------------------	-----

<b>ЗАУР БОЛКВАДЗЕ. Морису Подхишвили</b>	
--	--

<b>ХРОНИКА</b>	222
----------------	-----

<b>От редакции</b>	163
--------------------	-----

# «АМБРЫ, УМБРЫ И АРАБЫ...»<sup>1</sup>

ПОВЕСТЬ

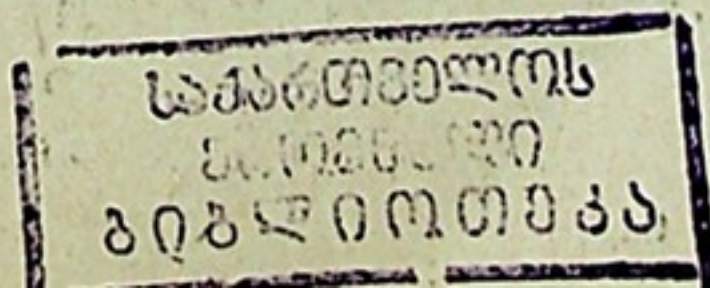
1.

Вечер. Идет дождь. Я один в квартире. За окнами сентябрь, уже начался листопад. Я стою у окна и вспоминаю, в который уж раз вспоминаю, как все это было. В комнате темно, лишь мягкий желтый свет фонарей проникает сюда с улицы.

Включаю свет, сажусь к столу и берусь за перо. Какой же тогда был день?.. Вспомнил. Все началось очень просто...

В четверг вечером мне позвонили и сообщили, что выезжаем в субботу, рано утром. Мы вполне могли бы ехать и на легковых машинах, у многих из нас они были, но предпочли автобус из тех соображений, что всем вместе нам будет веселее. Вернее, им... Потому что лично мне было все равно, на чем ехать: на легкой ли машине или на автобусе, и ехать ли вообще. Просто неудобно было отказываться. К тому же я не мог придумать убедительной причины для отказа. Была середина июля, наши жены с детьми разъехались по курортам, кто куда, и мы, как говорится, «наслаждались свободой». То есть, так принято было считать. На

<sup>1</sup> Название взято из грузинского народного эпоса «Амирани», в котором этим именем обозначено демоническое войско, противостоящее герою эпоса — Амирану и его невесте Камар.



деле же, едва пустела квартира и смолкал ежедневный домашний гомон, лично я сразу же понимал, что свобода эта мне собственно уже ни к чему. Приходит с работы, одуревший от тбилисской жары, падал на диван в гостиной и лежал, не в силах даже о чем-либо думать. На мебели скапливалась пыль, на кухне — грязная посуда. В это время года, как правило, не бегают к женщинам, а приводят их домой (и если попадалась сердобольная, то исчезала пыль с мебели и грязная посуда из мойки — в дом запретным путем проникала чистота), но и это делалось просто по привычке, чтобы все же как-то использовать обретенную свободу, а так ведь лично я, к примеру, месяцами мог и не вспоминать о существовании женщин... Я и с женой то давно уже просто исполнял супружеский долг... да еще чтоб она чего не подумала... Не скажу, чтоб я чувствовал себя физически слабым. Просто постепенно мной овладели безразличие и какая-то безотрадность, и произошло это так незаметно и естественно, что не особенно меня и беспокоило... Словом, в то время у меня тоже не было никаких желаний. И ехать не было никакой охоты, да отказаться не смог. Я поинтересовался, кто едет. Оказалось, наш отдел почти в полном составе, двое из отдела Ращенко и еще три женщины со стороны: подруга Иды, не то актриса, не то художница, родственница Русудан (очень красивая женщина, голубоглазая, как сообщил звонивший сотрудник), третья, кажется, чья-то двоюродная сестра.

Ко всем нашим женщинам я питал чисто дружеские чувства, кроме Иды. Да и к ней, пожалуй, тоже, однако сама она, кажется, перестала их разделять после прошлого лета. Поэтому я всячески старался ее избегать. Впрочем, внешне она этого никак не проявляла, не считая двух-трех колкостей (которые я счел несправедливыми и отнес на счет вздорности женского характера вообще), но отношения наши утратили былую естественность, и это меня по-настоящему огорчало, так как было ясно, что дружба наша безвозвратно погибла, и я считал это чрезмерным и излишним. Ну что тут такого? Захотелось людям быть вместе, побыли какое-то время — разве обязательно после этого друг друга ненавидеть, — рассуждал я. Тем более, что сближение наше произошло не совсем по моей инициативе, и я не



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ  
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ  
ԳՐԱԴԱՐԱՆ


давал никаких обещаний. Так что теперь мне было совершенно непонятно, чего от меня хотят. Впрочем, я ведь всегда знал, что если хочешь рано или поздно потерять женщину, надо сблизиться с ней физически. И неважно, жена она тебе или нет... Кстати, как раз брак-то и является гарантией такой потери. У других народов это, по моим наблюдениям, происходит иначе, а у нас почему-то получается именно так. Почему — не знаю, не думал над этим.

Хотя, к чему я все это? Да! Словом, то, что Ида тоже едет, мне не понравилось. Остальные наши женщины были не в счет — и так ежедневно торчат перед носом. Так что, если что и вызвало во мне некоторый интерес, так это те три незнакомки. Ну вот, скажешь что-нибудь, а потом вдумаешься — и окажется, что все, возможно, было совсем не так, как ты сказал. Я и теперь не знаю, действительно ли они вызвали во мне некоторый интерес, или же я сам стал себя убеждать: едут три незнакомые женщины, причем, одна из них, уже заранее известно, очень красива — поезжай, развеешься немного, познакомишься, интересно ведь узнать, кто они такие, чем занимаются. Ведь надо было, чтобы что-то меня туда манило. А так я уже не раз бывал в Хевсурети, и меня туда совсем не тянуло. Что же касается Атенгеноба и Лашароба<sup>1</sup>, то подобные праздники вообще были не для меня. Я не находил в них ничего привлекательного.

Что значит отвыкнуть писать, ...впрочем, не успев, по правде говоря, и привыкнуть. Сколько воды утекло с той поры, когда я с нетерпением дожидался вечера и, едва попав домой, в свою маленькую темную комнатку, тут же усаживался за стоявший у низкого окошка старый скрипучий письменный стол и принимался писать. И писал и писал... Ума не приложу теперь, о чем я мог столько писать, но писал как одержимый, на одном дыхании: дневники, новеллы, стихи — массу всего. Позднее, когда на плечи мои легли заботы о семье, и день мой строго и необратимо разделился между работой и домом, — стало не до этого. В первые годы еще накатывала порой нестерпимая потребность

---

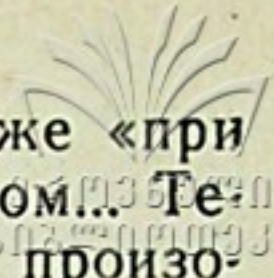
<sup>1</sup> Хевсурские религиозные праздники.



побыть одному. Казалось, если не удастся <sup>хоть ненадолго</sup> остаться наедине с собой — сойду с ума. Но, представьте себе, и одному побыть не удавалось, и с ума не сошел. Всегда считал себя нормальнее многих, между прочим, и окружающие были обо мне того же мнения. Потом, по прошествии многих лет, когда я наконец остался один (дети подросли, и теперь жена уезжала с ними на все лето), одиночество это стало меня даже раздражать, потому что напоминало время, когда я так жаждал его, — и тогда каждая минута моего одиночества бывала до краев заполнена множеством разных вещей, разумеется, относящихся к моему внутреннему миру. И вот теперь мне нечем было себя занять. Когда-то искал себя, теперь же видеть себя не хотел.

Вот, значит, сколько прошло времени... И где же я жил все это время, если теперь, написав слово «внутренний», тут же ощутил неловкость — таким высокопарным оно мне показалось. Я словно увидел его, это слово, глазами других, глазами людей, среди которых я жил и вращался. Но я все же оставляю это слово и предпочитаю его всем остальным, ибо любая его замена представляется мне еще более вычурной и, возможно, даже банальной.

Что я хотел сказать? В связи с чем подумал вдруг, что разучился писать? Конечно, в те далекие времена я намного точнее выражал свои мысли, хотя и был тогда студентом и вообще во всем новичком. Вот я только что заявил, что меня совсем не тянуло в Шатили, а по сути дела ведь ничего и не сказал. Разве это называется «сказать»?! Меня туда не только не тянуло, а, если уж быть честным, то вообще — даже отталкивало — никак не хотелось ехать. Если же очень постараться и быть еще правдивее, то я должен признаться, что мне даже смотреть было невмоготу в ту сторону. Но это где-то на самом дне души, глубоко-глубоко, куда я и сам, видимо, почти не заглядывал... Чувствую, что опять теряю нить мысли, так что отложу на потом, если в этом будет необходимость, объяснение того, что именно меня отталкивало, иначе я никогда не приступлю к главному, а я ведь так спешу, и это, видимо, выдают и мой почерк, и путанность стиля. Хотя кто это заметит? Будто я пишу завещание. При чем здесь другие? И при чем здесь Шатили? Впрочем, на последнем



особенно настаивать не буду. Может, очень даже «при чем». Во всяком случае, о самом Шатили потом... Теперь же я должен рассказать о том, что там произошло и что за этим последовало... Но прежде я еще о чем-то хотел сказать... Какая-то мысль мелькнула — и исчезла... (Замечаю, что чем больше приближаюсь к Шатили, тем больше тороплюсь и путаюсь, — мысли в спешке так и скачут у меня в голове... Но так у меня вообще никогда ничего не получится... Надо постараться писать спокойно, размеренно. И, самое главное, стараться писать обо всем так, как виделось тогда, а не так, как чувствуется сейчас). А зачем я вообще начал писать? Тем более, что ни мысли не могу собрать, ни точно их сформулировать, и вообще плохо владею пером... Зачем пишу, если все эти восемнадцать лет прекрасно обходился без этого, не мучил и не терзал себя... Мое раннее творчество закончилось вместе с моим студенчеством... Опять свернул в сторону, на этот раз, кажется, умышленно: хватаюсь за любую возможность отодвинуть как можно дальше то главное, о чем хочу рассказать, а может, просто пытаюсь выиграть время, чтобы совладать с нервами... Но в конце концов мне ведь все равно придется сказать и о том, зачем я пишу, и что случилось там, в Шатили, и после.

Пишу я затем, чтобы, во-первых, самому разобраться во всем, что со мной произошло. В голове все путается, а в процессе письма, может, само все по полочкам и разложится. Во-вторых... А что во-вторых? А то, что... я уже не молод и начинаю опасаться, что скоро все, что со мной случилось, начнет стираться из памяти и в конце концов подернется туманом... Разве не кажется мне уже теперь, что все это мне приснилось? Напрягаюсь, хочу увидеть все заново, и... все ускользает, исчезает, как просочившаяся сквозь пальцы вода. Ничего не вижу. Если бы у меня хоть что-нибудь осталось на память, хоть какая-нибудь вещица, какой-нибудь зримый предмет, который можно было бы потрогать руками, как неоспоримый документ, вещественное доказательство, — тогда бы мне, наверно, не казалось, что это был сон. С грустью думаю и о том, что может настать день, когда вся эта история покажется мне преувеличенной, раздутой моим собственным воображением, и я, возможно, стану стыдиться своих тепе-



решших переживаний. Или вообще перестану верить во все это, или просто не смогу ничего вспомнить. Наверное, поэтому я и пишу, а вовсе не затем, чтобы найти облегчение... Нет, облегчения я точно не желаю испытать...

Теперь, когда я пишу, когда я снова, по прошествии стольких лет пишу, сидя за письменным столом моей семнадцатилетней дочери (у меня нет ни собственной комнаты, ни своего стола, — да мне и ни к чему), — с болью вспоминается мне тот мой маленький старенький скрипучий столик в полутемной комнатуске. Маленький столик с тремя выдвижными ящичками у низенького окошка, в раму которого, как картинка, была вставлена раскачивавшаяся на столбе прикрытая колпачком лампочка, а также инжирное дерево и звездное небо. Каждую осень это дерево, словно женщина, сбрасывало с себя одежды, обнажая гладкие беловатые ветки, так что я даже стеснялся на него смотреть. Кстати, несколько лет назад приснился мне очень странный сон, в котором присутствовал и этот письменный стол (запомнил же я этот сон потому, что, к счастью, обычно вообще не вижу снов). Тот сон очень взволновал меня тогда, надолго оставил в душе тяжесть. Я понял, что он что-то означал, но долго над ним голову ломать не стал. Вообще в последние годы я думал нехотя и наспех. Начну, бывало, о чем-то думать, но стоит делу осложниться, а мысли наткнуться на какое-либо препятствие или неудобство — и я тут же иду на попятный. Я мог что-то установить, констатировать какой-то факт, но чтобы доискиваться до причины — на это не хватало ни терпения, ни времени, — и я отступал. Словом, крутыми подъемами я себя не утруждал. Сразу же поворачивал назад. Знаю, как это называется и как называется такая жизнь, но я не мнил себя героем и не считал нужным противиться течению. Плыл по течению, как все. Так вот, не помню, в связи с чем я вспомнил о своем столе и что хотел этим сказать, но все мои чувства теперь так напряжены, что вряд ли что-либо вспоминается случайно, — все, что вспоминается, обязательно будет как-то связано с тем, главным.

Но сейчас мне некогда, я очень спешу, а потом, в

конце, если сумею, постараюсь связать все это воедино.

Теперь же не буду больше отклоняться в сторону и поведаю наконец по порядку самому себе обо всем, что со мной случилось.

Когда я поднялся в автобус, все уже были на месте. Встретили мое появление приветственными возгласами. Я опустился на маленький стульчик возле кабины водителя, оказавшись таким образом лицом к обществу. Едва усевшись, сразу же отыскал глазами трех незнакомок, и одна из них сразу же обратила на себя мое внимание своими чуть широко расставленными голубыми глазами, стянутыми на затылке в тяжелый пучок светлыми волосами и округлыми золотистыми, обнаженными до плеч руками. Видимо, Важа имел в виду ее, говоря, что одна из женщин очень красива, — решил я. Вторая была брюнеткой и сидела через несколько рядов позади первой. На вид ей было лет тридцать семь. Слишком черные, разделенные на прямой пробор, гладко зачесанные и собранные на шее волосы ее излучали странный блеск. Белки глаз чуть желтоватые, по скулам рассыпаны бледные веснушки. Тонкие губы с опущенными книзу уголками и ноздри изумительно прямого носа как-то нервно подрагивали. Интересная женщина, но не волнующая. Что касается третьей, то я довольно долго не знал, кто она и как выглядит, так как она сидела рядом с Идой, у окна, и я старался не смотреть в ту сторону. К тому же ее заслонял сидевший перед ней Важа. Так что я успел заметить лишь ее розовое платье, так называемый «балахон». А заметил я его потому, что за такое платье, только серое, моя жена недавно ухнула всю мою премию — триста рублей (не принадлежа жене внутренне, в остальном я ни в чем ей не отказывал и старался, чтобы у нее все было). Важа ерзал на месте и беспрестанно вертел головой, вследствие чего я видел то ухо, то половину лба, то мягкую линию от уха к подбородку незнакомки в розовом, все время смотревшей в окно. Постепенно я понял, что внимание мое к этой женщине привлекало еще что-то, помимо платья, — это были ее очень прямые плечи, правое из которых то и дело попадало в поле моего зрения: розовое платье,

как вода, обтекало эти красивые худощавые плечи, напоминая древнегреческие одеяния.

То ли потому, что все три незнакомки рождали в душе приятные ощущения, то ли мне передалось общее веселье, но я вдруг пришел в хорошее расположение духа. И хотя лица третьей женщины я все еще не видел, оно меня не очень-то и интересовало, так как все мое внимание было сосредоточено на голубоглазой, сидевшей напротив меня, у окна, рядом с Гурамом.

Мысленно я уже улыбался каким-то смутным, но заманчивым возможностям. Впрочем, в сердцах у остальных мужчин происходило, видимо, то же самое, и было очень любопытно, как же в конце концов распределятся роли: ведь нас, мужчин, было десять человек (Сандро я в расчет не принимал, так как рядом с ним, как и на службе, и тут восседала его неразлучная супруга), а незнакомок всего трое.

Гурам сидел со счастливым лицом, поминутно доверительно сообщая что-то своей красивой соседке. Важа встал и ушел зачем-то в конец автобуса, и тут я, наконец, впервые увидел лицо женщины в розовом. В первую минуту она показалась мне такой юной, что я тут же поспешно исключил ее из сферы «возможностей». Но потом, присмотревшись внимательней, я понял, что ей по меньшей мере лет двадцать семь. Во всем ее облике было нечто (не могу сказать, что именно), указывающее на то, что она принадлежит к числу людей, которые или очень поздно, или вообще никогда не выходят из детского возраста. Но в чем это выражалось, и притом так явно, что я в первую же секунду об этом подумал, — не могу объяснить. Когда я впервые увидел ее всю, то есть увидел ее лицо целиком, она сидела, положив щеку на согнутую в локте и опирающуюся на спинку кресла руку, и как-то исподлобья посмотрела на меня своими большими глазами. Когда она выпрямилась, я решил, что по сравнению с «Чернявой» и с «Голубой» в ней, на первый взгляд, нет ничего особенного. Я подал знак Гураму, и он бросил мне пачку сигарет. Так я сидел, курил, разглядывал лица своих спутников и размышлял о том, что все они выглядят изменившимися, какими-то обновленными: как, бывает, сотрешь с мебели пыль—

и она вдруг заблестит, — вот такими же повеселевшими выглядели все мои сотрудники.

«Чернявая» то и дело подносила к прозрачным поздрам, едва касаясь их, уголок белоснежного носового платочка. Она уже давно о чем-то очень серьезно, без улыбки рассказывала Бондо, собравшему и изобразившему на лице весь свой запас глубокомысленности.

Как только в поле моего зрения попадала «Розовая» (прямо смотреть в ту сторону я по-прежнему избегал), я отчего-то испытывал удовольствие, но отчего — понять не мог. Потом все же понял: было в ней какое-то скрытое очарование, сквозившее в грациозных движениях ее головы и длинных рук и плохо сочетавшееся с некой небрежностью выражения ее лица. Из-за всех этих всколыхнувшихся во мне ощущений я снова зачислил «Розовенькую» в число смутных «возможностей», но главным образом про запас, на всякий случай, так как все мое внимание было по-прежнему направлено на «Голубую», и как только Гурам на минуту встал и зачем-то подошел к водителю, я тут же невозмутимо уселся на его место и завязал беседу с Меги — так звали красивую незнакомку.

Я заявил ей, что, дескать, мой друг и коллега так пожирал ее глазами, что я решил незамедлительно вмешаться, с тем, чтобы, разумеется, совершенно бескорыстно, взять на себя заботу о ее безопасности. Меги громко засмеялась. Гурам ограничился тем, что лишь досадливо махнул рукой в мою сторону: я, конечно, догадался, чего он мне при этом пожелал в душе, тут же мысленно вернул ему его пожелания и храбро приступил к обеспечению безопасности моей соседки. Повернулся к ней всем телом, положив одну руку на спинку переднего кресла, а вторую вытянул у нее за спиной: на вас, дескать, устремлены сотни опасных взглядов, так вот, пусть теперь сверлят ими мою спину. Меги совсем развеселилась. Парируя мои шутки, заглядывала мне в глаза и весело смеялась. Нижняя пуговица на ее узкой юбке расстегнулась, остальные пуговицы тоже явно готовы были последовать ее примеру и выпустить на волю круглые коленки.

Я с наслаждением купался в голубизне ее глаз, не обремененных ни глубиной, ни напряжением мысли,

что, на мой взгляд, являлось их дополнительным достоинством и делало наше общение еще более приятным.

На поворотах, как это обычно бывает, она невольно прижималась к моей руке, я посоветовал ей быть смелее и воспользоваться также и моей грудью, — ведь я нахожусь здесь исключительно с целью обеспечения большего удобства ее путешествия. На очередном повороте, когда она ухватилась за спинку переднего кресла, руки наши оказались рядом, мизинцы соприкоснулись, и мне вдруг вспомнились мои первые шаги на этом волнующем пути. Возможно, вспомнились они мне еще и потому, что автобус наш в это время как раз проезжал по мосту... Когда-то давным-давно, в деревне, когда мне было лет пятнадцать, стоял я на мосту рядом с соседской девочкой. Мы оба держались за перила. К тому времени я был уже порядком измучен пробуждавшимися во мне кровью и плотью, тем более, что некий простой и не зависящий от другого физический катарсис, служивший избавлением для мальчиков моего возраста, не приходил мне в голову. Солнце садилось. Река и все вокруг, словно мягкой тканью, было окутано его темно-розовым светом. Мы смотрели на воду, она о чем-то говорила. У меня уже начало рябить в глазах от непрерывно бегущей воды, как вдруг я, к своему ужасу, обнаружил, что рука моя постепенно придвигалась к ее руке... и наконец я, совсем уж потрясенный, сжал мизинцем ее мизинец. И тут что-то горячей волной прокатилось по всему моему телу — что-то очень похожее на ту же реку, только замедленное и раскаленное, и словно влилось в меня. Еще немного — и я готов был броситься вниз головой с того моста... А она стояла как ни в чем не бывало и смотрела прямо перед собой... С ума сошла, — решил я... Этим сцеплением мизинцев завершился первый период моей жизни, если попытаться разделить ее на периоды. С этого дня еще больше усилилось мое томление, страх и благоговение по отношению к девушкам... Меня так мучительно тянуло к ним, что я их почти ненавидел. Пока наконец этот второй период не закончился тем, что однажды ночью я, как лунатик, ступил в комнату нашей квартирантки, молодой учительницы (родители с сестрой уехали

в соседнюю деревню на похороны одного мальчика моих лет и должны были вернуться лишь на следующий день; когда они выходили со двора, моя сестра помахала мне букетом красных георгинов и показала язык). Я плохо соображал, что говорил и что делал. Помню лишь, как она смущенно улыбалась мне... Не могу сказать, чтобы все прошло благополучно. Когда я очутился в ее белоснежной постели и меня снова накрыла та горячая волна — она словно смыла и меня самого: я потерял сознание. Перепуганная женщина (которой я, наверно, отравил все удовольствие, если мне вообще удалось ей его доставить) окликала меня по имени, терла мне виски и горячо целовала меня. Придя в себя, я зарылся лицом в ее мягкую грудь и разрыдался. Так и выплакал все. С той ночи я все порывался сбежать из дому. Во-первых, потому, что со стыда готов был сквозь землю провалиться, когда видел ее... а во-вторых... потому что, стоило мне ее увидеть, как, несмотря на этот стыд, ноги мои сами, как послушного раба, готовы были нести меня в ее комнату...

Позже, когда я приехал учиться в Тбилиси, все стало проще. Особенно после женитьбы. Я был ничем не лучше и не хуже других, жил, как все. Во всяком случае, этот третий и последний период моей жизни был примечателен тем, что я, сидя где-нибудь в компании и изрядно выпив, мог встать, вывести женщину в соседнюю комнату и побыть там с ней, если такая возможность представлялась. Конечно, в таких случаях я всегда бывал пьян, но это не имеет существенного значения. Не знаю, как это все происходило, неохота сейчас все это вспоминать и анализировать, но к сорока годам я уже окончательно охладел к женщинам. Как сказал бы мой сын Резо, «окончательно потерял всякий кайф». Ничего больше не ждал от женщин, да ничего и не требовал от них. Лишь изредка возникало желание хотя бы раз еще испытать то удивительное, чудесное, нахлынувшее на меня там, на мосту, над нашей речкой, или тогда, в ту первую ночь, но разве кому-нибудь удавалось дважды войти в одну и ту же реку?

От этого воспоминания, посетившего меня, пока я смотрел на наши с Меги руки, стало тяжело на ду-

ше. Наступил какой-то спад, настроение снова испортилось. Но нельзя же было вот так вдруг пускаться на самотек с таким энтузиазмом начатое дело. И я снова принялся болтать со своей красивой соседкой. Временами до меня доносился резкий смех Иды. Явно нарочито слишком громкий. Наконец я не выдержал, оглянулся — и наткнулся на ее взгляд. Она тут же отвела глаза. «Розовая» же сидела теперь, подперев ладонью висок, и показалась мне грустной.

Автобус вдруг задержался и остановился. Водитель попросил нас выйти и подтолкнуть его. «Розовая» вскочила и, опережая мужчин, спрыгнула на землю. Меги не двинулась с места. Остальные женщины тоже остались в автобусе. Мы, все мужчины, стали в ряд и уперлись руками в заднюю стенку автобуса, так что свободного места на ней не осталось. «Розовая», видно, обиделась. «Я буду тебе помогать, Важа», — сказала она и положила руки ему на плечи. «Поменяйтесь местами, так вам будет удобнее», — посоветовал им я, продолжая толкать автобус. «Розовенькая» засмеялась, смех у нее был красивый, мелодичный.

Вскоре мы достигли Барисахо и сделали остановку. Мы с Меги направились к речке и уселись на берегу. Бондо по-прежнему послушно следовал за «чернявой». Кто прилег на траву, кто присел на камень, кое-кто даже затянул песню. Я же все никак не мог вернуть себе хорошее расположение духа. Как-то вдруг внутренне сник. Со мной это часто случается. Впрочем, взгляд мой продолжал скользить по шее и груди Меги, по ее ножкам, полностью оправдавшем все внушенные верхней частью ее тела ожидания. Потом Меги понадобились очки от солнца, я встал и пошел к автобусу за ее сумочкой. Заметил, что «Розовая» стоит на коленях у подножия одного дуба, ковыряет палочкой землю и во все глаза рассматривает что-то. Подошел и стал у нее за спиной. Волосы, разделившись на склоненной шее, обнажили позвонки на ней. На соединении шейных и спинных позвонков виднелись мелкие бледные родинки, расположенные наподобие звезд в созвездии Малой Медведицы.

— Что ты делаешь?

Вздрогнула, оглянулась на меня.

— Видишь? Муравьи тащат майского жука... Сов-

сем его выели... Это ведь могильщик... всех хоронит, а теперь вот и сам умер... — серьезно сказала она и палочкой преградила путь толпе муравьев. Потом откатила жука в сторону, вырыла ямку и закопала его.

— Жалко... а кроме того, у меня есть и другая причина...

— Была у меня в детстве одна знакомая маленькая девочка. Бывало, где увидит мертвую птичку или цыпленка, — всех хоронит... Очень красивые могилки умела делать, ни одна девочка не могла с ней в этом сравниться.

— Я тоже умела, — просто сказала она.

— Дай-ка мне на минуту этот прутик, — я присел на корточки рядом с ней. Меня вдруг заинтересовало, полезут ли муравьи на прутик или станут его обходить.

— Нет, — неожиданно отрезала она.

— Почему? — удивился я.

— Потому.

— Ты что, дуешься на меня?

Она, не отвечая, продолжала ковырять землю. В это время меня окликнула Меги, и я направился к автобусу, где лицом к лицу столкнулся с выходящей из него с термосом в руках Идой. Я посторонился, пропуская ее. «Благодарствую», — насмешливо сказала она и удалилась. «И чего им всем от меня нужно?» — подумал я. К Меги вернулся немного взвинченный, протянул ей сумочку. «Спасибо», — улыбнулась она, доставая из сумочки очки. Я уселся рядом с ней и уставился на воду. «Арагви», — произнес я, словно про себя. «Арагви, — повторила за мной Меги. — Интересно, что это слово означает? Как, вы не знаете?» «Ара гвиан» — то есть «не опаздывайте», — отвечал я, не отрывая глаз от воды. «Не опаздывайте? Куда не опаздывайте?» — «Куда сердце влечет». Она засмеялась. Я раздраженно думал об Иде: наверняка все выболтала «Розовой». Представил себе, в какой именно форме она могла все рассказать. Есть ли на свете хоть одна женщина, не посвящающая подружек во все свои приключения? А мне плевать, в конце концов! — Я решил немедленно рассеять свое раздражение и вскоре действительно забыл о нем, так как Меги взяла мою левую руку, раскрыла ладонь и принялась



изучать ее. Прикосновение ее рук было очень приятно, в меня словно вливалось тепло.

— Не спешите, пожалуйста, подобные дела не терпят спешки, — сказал я ей.

— То не опаздывайте, то не спешите, — с улыбкой пробормотала она, продолжая разглядывать мою ладонь, потом вдруг спросила:

— Сколько вам лет?

— Сорок два.

Она снова взглянула на мою ладонь и провела указательным пальцем по «линии жизни».

— Видите? Жить будете до семидесяти лет, под конец будете очень одиноки, духовно одиноки, будете болеть... А вот это место, — указательный палец ее остановился там, где «линия жизни» проходила под «бугорком Венеры» и была перечеркнута маленьким, но глубоким крестиком, — это место приблизительно соответствует вашему теперешнему возрасту... так что, если это еще не случилось, то очень скоро случится...

— Что? — к своему собственному удивлению, совершенно серьезно спросил я.

— Вам предстоят очень, очень сильные переживания... и очень внезапные, как снег на голову... но в то же время все это... как бы это сказать... хоть и придет неожиданно... но будет отнюдь не случайным... потому что здесь получилась форма креста... понимаете?... Это ваши страдания... вам суждено нести их в себе... Не знаю, понятно ли я говорю...

Пока она все это говорила, лицо у нее стало совсем отчужденным, опустошенным, от глаз словно осталась одна лишь поверхность, оболочка, и если еще совсем недавно у меня было ощущение, что я погружаюсь в них, то теперь я подумал, что это совершенно невозможно, — они отражали мой взгляд, отбрасывали его назад. Может, виной всему было именно это пугающее отсутствие всякой мысли в выражении ее лица, но по телу у меня вдруг побежали мурашки, и я нервно воскликнул:

— Глупости! — И тут же, желая исправить невольную грубость, добавил: — Главное достоинство этих слов состоит в том, что они исходят из столь прекрасных уст, не правда ли? — получилось как-то не очень остроумно.

— Конечно, глупости, — тут же согласилась она.  
— Просто иногда хочется развлечься... — Она распрямляла мне пальцы, снова согнула их, взгляделась в образовавшиеся на ребре ладони черточки и засмеялась:

— Ой-ой-ой, сколько женщин... и еще будут...

— А голубоглазой, светловолосой там нигде не видно?

— Нет. — Она засмеялась, закрыла мне ладонь и обеими руками отодвинула от себя мою руку, словно возвращая ее мне.

— Непременно надо найти и для нее достойное место. Вы гадалка?

— Нет, журналистка.

— Только хиромантней занимаетесь?

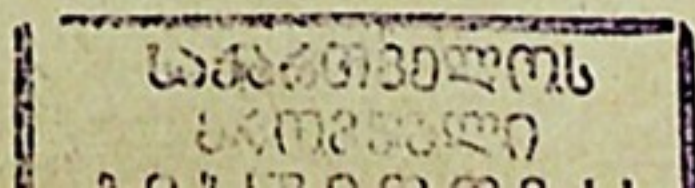
— Почему же. И на картах, и на кофе гадаю, — смеялась она.

— Так давайте и карты мне раскиньте, кофе тоже, кажется, есть у женщины в термосе... Правда, в кофе из термоса я не верю.

Она смеялась.

Я встал. Осмотрелся. Все наши спутники собрались вместе, группой. Элгуджа брэнчал на гитаре, пристроив ее на заметно выпирающем животе. Бондо пропоягивал «Черненькой» персик. Важа, сверкая глазами, читал стихи. Гурам лежал, положив голову на колени Нэлли. Кети плела венок из каких-то желтых цветов, поминутно поправляя съезжавшие на нос темные очки. Только «Розовенькой» не было видно. Но я тут же увидел ее по другую сторону дороги, под большим деревом: она лежала навзничь на большом камне. Если сейчас подойти к ней и сказать: подвинься немного, и я присяду, — наверняка ответит: нет! Она казалась ужасно упрямой. Я подошел к нашим и стал собирать разбросанные в траве карты. Гурам подставил мне ногу. Я переступил через нее. Он что-то сказал мне и засмеялся. Я не стал ему отвечать и вернулся к Меги.

Она тем временем уже сбросила свои «сабо» на толстой подошве и теперь сидела, опустив ноги в воду. Взяла у меня из рук колоду, поудобнее, бочком устроилась на берегу и стала мешать карты. Потом достала из колоды трефового короля и показала его мне.



— Это вы. Вы ведь, конечно, женаты.

— Конечно. Поэтому и выгляжу таким болваном, да? — У усатого трефового короля с наруганными щеками и в самом деле был очень глупый вид.

Меги положила короля на траву, накрыла его сверху перевернутой картой.

— Сейчас посмотрим... — и принялась раскладывать вокруг него остальные карты. Сначала сверху и снизу, потом по бокам, наконец, кирпичами сложила карты на грудь трефовому королю, то есть мне. Потом сняла с несчастного всю эту тяжесть и веером развернула карты в руке... И в ту же секунду — я сразу не разобрал, оса это была или пчела, — какое-то насекомое зажужжало у нее под самым носом. Она взмахнула рукой с картами и... три карты упали прямо в воду... и поплыли по реке очень странным образом: две лицом вниз, блестя на солнце черными спинками, а меж ними — улыбающаяся бубновая дама. Я не шевелился, как замороженный глядя на так красиво и так странно плывущие по реке карты. Но вот их захлестнула волна, они смешались, завертелись и исчезли.

Моя гадалка вскрикнула и потянулась было за ними, но я удержал ее.

— Чему суждено было уплыть — пусть уплывает. Но не скажет ли мне гадалка, что это была за дама?

— Незамужняя женщина, — очень серьезно отвечала она, — на сердце у вас лежала...

— А-а-а, а вы, простите, замужем?

— Я да...

— Очень хорошо, значит, место освободилось...

— Очень плохо, — все так же серьезно проговорила она. — Очень плохо...

Снова зажужжала пчела. на этот раз норовя усесться мне на голову...

— Это она во всем виновата! — вдруг разозлилась Меги, схватила свое сабо и, не увернись я вовремя, наверно, прихлопнула бы пчелу прямо у меня на голове.

За спиной у нас зазвенел смех. Мы оглянулись. «Розовая» и Важа стояли неподалеку и смотрели в на-

шу сторону. При этом она смеялась вовсю, никак не могла остановиться.

— У нее ведь одно крыло короче, да? — смеясь, спросила она.

У пчелы, которая все еще кружила над моей головой, кончик одного крылышка и в самом деле был словно надорван.

— Да, но откуда вам это известно? — изумился я.

— Она недавно у меня была, потом к вам полетела.

«Розовенькая» так смеялась, что чуть не задохнулась, она опустилась в траву и смеялась так заразительно, что вскоре и мы все трое присоединились к ней, и теперь уже хохотали как ненормальные четвером.

Пчела тем временем улетела.

«А как же пчелка?» — вспомнился мне вдруг вопрос Ращенко, и я еще больше развеселился.

Неделю назад захожу я к Ращенко в кабинет и спрашиваю, почему он отказался проектировать работы по поднятию уровня воды в озере Арбо. Мы с ним накоротке, даже друзьями считаемся, но это не мешает ему иногда, совершенно неожиданно, когда он сочтет это необходимым, демонстрировать мне крайнюю официальность. И на этот раз он строго взглянул на меня, поправил концом линейки сначала очки, потом белую полотняную кепочку у себя на голове, потом уперся им мне в грудь и торжественно спрашивает:

— А как же пчелка?

Он очень гордится тем, что говорит по-грузински, и нередко намекает на «некоторых» (при этом все знают, что он имеет в виду Герасимова), у которых и деды и бабки родились в Тбилиси, а они между тем двух слов по-грузински связать не могут.

Сам он упрямо говорит по-грузински, особенно когда разгорается какой-нибудь горячий спор или требуется высказать принципиальные соображения, то есть в такие минуты, когда человеку и на родном языке не так-то просто мысли сформулировать. Вот и на этот раз он вопрошал меня по-грузински:

— А как же пчелка?

— Какая пчелка?

— Как можете, молодой человек! Поднимать-опу-  
скать — это легко. А потом что там получать?

— Где там?

Он очертил линейкой круг.

— Круг озера! Не помнишь, прошлый год река  
уровень поднимать — не слышал, что получать? Пчел-  
ка пропал! Улетел! Некоторые умир! Два редки сорт  
трава умир! Там круг озера — богатейший флора, три  
такой цвети, котори болше нигде нету. И пчелка есть.  
А если умирать? И тот редки цвети тоже пускай уми-  
рать, да?

— Редкие цветы, — поправил я его.

— Вот именно, редкие. Спасибо.

— Сначала пускай заведут там порядок, потом  
будем поднимать-опускать.

— Наведут порядок.

— Да, наведут. И вы наведите порядок вашу ин-  
формацию.

Он с силой хлопнул по столу коробком спичек,  
потом снова схватил его и переложил на другое место.

— Природа так не можно: положить — перело-  
жить. Пока надо все изучать. Река перебросили уще-  
лье — разрушать маленький базилика. Кто-нибудь  
спросить — почему? Климат поменялся, экология!

— Да, но ведь совсем недавно вы запроектирова-  
ли подъем воды в другом озере!

Бросает на меня еще более строгий взгляд:


— Как можете, молодой человек! Тот озеро опу-  
стился, сам опустился! Я поднимал. На природни уро-  
вень — всегда поднимал.

— Но ведь этот проект все равно будет осуще-  
ствлен, и вы это знаете...

— Знаю. Но я не буду осуществлять.


После многочисленных споров и выговоров, не-  
приступной скалой встречаемых обычно мягким и сго-  
ворчивым Ращенко, проект был передан нашему от-  
делу. Теперь им занимались мы, и все ложилось в ос-  
новном на мои плечи.

Что же касается информации, в которой мне на-  
длежало «завести порядок», то тут мне и так все дав-  
но было ясно. В первые годы службы у меня прямо  
мозги закипали в голове от размышлений над теми из-  
менениями, к которым приводило любое гидрологиче-



ское вмешательство в природу. Выветривание ущелий, разрушение пород, затопление, исчезновение растений и возникавшие среди птиц и насекомых всякие необъяснимые процессы. Но предварительное изучение всех этих последствий казалось невозможным, и если бы нам пришлось все заранее учитывать, то для осуществления каждого самого малюсенького мероприятия потребовалось бы невероятно много времени и средств. К тому же я видел, что никто особенно не ломает голову над этими проблемами, за исключением разве что тех случаев, когда выявлялась какая-то очень серьезная ошибка, грозящая нанести природе большой ущерб. И я тоже перестал ломать над этим голову. Так что «пчелки» тревожили у нас одного лишь Ращенко.

Когда мы поднялись в автобус, Гурам опередил меня и занял место рядом с Меги. Я уселся в конце автобуса, на длинной скамье, и теперь смотрел обществу в затылок. Бондо по-прежнему сидел рядом с Ламарой, то есть с «Черненькой», которая оказалась терапевтом, и сколько я ни прислушивался к их беседе, речь все время шла о какой-то особой форме холецистита. Бондо, которого беспокоила печень, видно, уже чувствовал себя пациентом этой женщины и только и думал, как ему от нее сбежать, неоднократно знаками предлагал Элгудже свое место: смотри, дескать, какая женщина, но Элгуджа пока воздерживался. Рядом со мной сидела Кети, единодушно признанная самой красивой женщиной нашего учреждения, но, несмотря на это, все еще остававшаяся незамужней. По другую сторону от Кети сидел муж одной нашей сотрудницы, доктор то ли философии, то ли психологии. Супруга его, то есть наша сослуживица, в последнюю минуту заболела, а философ (или психолог), несмотря на это (а может, именно поэтому), поехал с нами. И теперь, видимо, намеревался очаровать и покорить свою очаровательную соседку бесконечными (с самого начала поездки) разглагольствованими о падении и оскудении духовной жизни Запада. Видно было, что начал он с самых истоков, и теперь излагал современную точку зрения на причины несчастий Европы. Упоминал Ницше, Шпенглера и Адорно. Лишил Европу всякой надежды на спасение, обрек ее на вечный беспросветный мрак. Он явно был специалистом по декадансу. Что



же касается Кети, то она считала себя проклятой с самого рождения, так как, по ее собственному признанию, если с ней и заговаривали мужчины, то лишь с одной-единственной целью: поведать о своих заботах и бедах, рассказать о своих болезнях и страданиях. И Кети всех утешала. Она уверяла, что все мужчины без исключения видят в ней лишь мать и сестру милосердия. А теперь этот человек решил взвалить на нее несчастья всей Европы, да еще так впечатляюще и убедительно их живописал, что наша бедная, по натуре сердобольная сотрудница уже готова была разразиться слезами. К беседе этой временами прислушивался и Элгуджа, явно мало что в ней понимая. Но одно он, видимо, все же уяснил, что дела Европы обстояли из рук вон плохо. Наконец он не выдержал: «Надо спасти этих несчастных, может, привозить их к нам по очереди для поднятия духа?» «Вот вы шутите, — отвечал философ, — а я приведу вам всего один пример. Приехал в Тбилиси один немецкий теолог сроком на год. Он закончил иезуитский колледж и по возвращении на родину намеревался вступить в иезуитский орден. А вы знаете, что это за орден? Не знаете. Орден жесточайшего аскетизма. И вот по истечении года этот человек заявляет: не желаю, дескать, вступать в орден, хочу жениться и создать семью, в Грузии, дескать, научился любить жизнь». «Это еще что, — отозвался Элгуджа, — я вот знавал в Тбилиси одного немецкого грузиноведа, приехавшего изучать грузинский язык. Немецкая дисциплина и порядок вам, конечно, известны. Сначала дни у него по минутам были расписаны. Но постепенно завелись у него друзья. Много друзей. То один пригласит в гости, то другой. И сам он все повторял: чувствую, говорит, как огрузиниваюсь. Этот процесс огрузинивания закончился тем, что через год, когда ему устроили проводы, он так напился, что уже хозяевам пришлось его торопить и уговаривать: дескать, на самолет опоздаешь. Когда же его наконец доставили в аэропорт и он услышал, что самолет его полчаса как улетел, он вытаращил глаза на дежурного, икнул и заявил: «Улетел? Прекрасно! Wunderbar!» Потом помахал дежурному рукой, повернулся к провожающим, обнял их и сказал: «Теперь мы можем спокойно продолжать!» И все верну-

лись к прерванному застолью. Неделю спустя немец, наконец, улетел, но на этот раз забыл свой портфель со всеми документами. Пришлось этот портфель потом отдельно переправлять».

Мы все смеялись. Но это ничуть не уменьшило озабоченности нашего философа судьбами Европы. «Ему надо было сесть рядом с терапевтом — вот они доконали бы друг друга!» — подумал я. Я снова пересел вперед, на стульчик рядом с шофером и взял на себя роль гида: предложил обществу обратить внимание на дорогу, вдоль которой с одной стороны тянулось ущелье, с другой — скалистый горный склон, а сверху — бесконечное, покрытое облаками небо. Я разъяснил своим спутникам, что романтическое преимущество этой дороги заключается в том, что у едущих по ней есть все шансы не доехать до цели путешествия. Перечислил многочисленные возможности, предоставляемые этой дорогой для поэтического, необычного прощания с собственной душой: можно свалиться в ущелье, можно погибнуть под обломком скалы, можно врезаться в выступ. Эта все возрастающая близость конца безгранично обостряет наши чувства, заставляет нас до конца наслаждаться каждой минутой, — а что же еще нужно путешественникам, отправившимся в путь в поисках острых ощущений. Я долго разглагольствовал в таком вот духе, и все смеялись.

Автобус нагнал отару овец, которой, сколько я ни вглядывался, не было видно конца. Водитель долго и оглушительно сигналил, но тщетно. С одной стороны было ущелье, с другой — скалы. Деваться овцам было некуда, они медленно трусили по дороге, и мы плелись за ними. Пастухи, двое мужчин и один мальчик, с обветренными, словно обожженными лицами и с перевешенными назад через пристроенные на поясицы палки руками, и ухом не вели в нашу сторону. Водитель что-то крикнул им. Один из пастухов оглянулся: что, дескать, я могу поделать, и лениво взмахнул кнутом. Видно было, что ему совсем неохота подгонять овец, и он считает более разумным, чтобы мы дождались, пока овцы выйдут на какое-нибудь открытое место и разбредутся в стороны. Овцы стали толкаться, теснясь и налезая друг на друга, и перед нами образовался узкий просвет. Автобус сунулся было в



этого просвет, но отара тут же снова сомкнулась. Солнце нещадно пекло, мы задыхались и обливались потом. Кто-то из женщин крикнул водителю: потише, дескать, не подави ягнят. Кажется, это была «Розовая». Водитель, словно только этого и ждал, внезапно взорвался: «Потише! А я прямо лечу, да?! Вам-то что! Мотор вот-вот сгорит!» Я схватил бадминтонную ракетку, висевшую у меня над головой, и попросил водителя открыть дверь.

— Я тоже выйду! — крикнула «Розовая».

— Если вы рассчитываете на то, что, по старинной поговорке, на женщину и пес не лает, то ошибаетесь. В наше время то ли женщины другими стали, то ли собаки, то ли и те и другие, но теперь псы охотно бросаются и на женщин, — сказал я ей, направляясь к выходу.

— А вот и не бросятся, — упрямо отозвалась она.

Она огляделась по сторонам, ища, чем бы ей «вооружиться». Гурам выхватил у Иды веер и протянул ей: «Извольте, можете освежить овец». Бондо подал ей чей-то зонт с длинной ручкой. «Прекрасно», — сказала она и последовала за мной.

Я шел впереди автобуса, ракеткой подгоняя овец. «Ахахай!» — бешено орал я, переходя на бег. За мной, вращая раскрытым зонтом, поспешала «Розовенькая». Отара раскололась надвое, и автобус последовал за нами. Клыкастые псы и в самом деле рычали и лаяли только на меня, не обращая на «Розовенькую» ни малейшего внимания. Возможно потому, что она все время смеялась и скорее забавлялась, чем сражалась. Я же был по-настоящему зол и мысленно отводил душу бранью. Наконец мы прошли сквозь отару, за нами выполз автобус. Мы еще какое-то время продолжали бежать вперед, опасаясь, как бы отара не нагнала и снова не поглотила нас. Потом на ходу быстро вскочили в автобус, где были встречены рукоплесканиями и громкими возгласами. Шота надел моей соратнице на шею венок из желтых цветов и облобызал ей руку. А мне булавкой приколол к груди пустую магнитофонную кассету. Я вернул кассету Бондо и, протянув руку в сторону Меги, заявил:

— В качестве награды прошу вернуть мне мое место.

Гурама тут же согнали с кресла. Кто-то крикнул: дескать, что там место, ты и женщину заслужил. Я сел.

— Видите, с каким трудом удалось мне завоевать право на вашу близость, — сказал я своей соседке и вдруг подумал, что к «Розовенькой», которой и имени-то до сих пор не знал, я почему-то обращался на «ты», а к Меги — на «вы». А должно было быть скорее наоборот. В это время сзади ко мне наклонился Бондо и зашептал: «Учти, ее муж — друг Вахтанга». «Ну и что? Я же ее не насирую», — так же шепотом отвечал ему я, а про себя подумал: «Вот и отпускаяй после этого жену одну». Хотя сам я всю жизнь изменял жене и считал это вполне естественным, застав жену хотя бы в таком вот обществе, наверно, убил бы на месте. Во всяком случае, так мне казалось.

Включили транзистор. Гурам долго его настраивал. И вот из пискон, треска и обрывков речи вдруг ручейком заструилась музыка. Волнующий, напряженный, окутанный таинственностью поток разливался все шире и шире, потом с шелестом дробился на множество мелких ручейков... чтобы вскоре снова слиться воедино... Я никак не мог вспомнить, что это за музыка... но это было нечто, заставлявшее себя слушать, хотел ты этого или нет.

Миновали хребет.

— «Золото Рейна» Вагнера! — воскликнула Ламара. Я оглянулся. Она сидела с закрытыми глазами и, кажется, готова была расплакаться. — Они прокляли любовь, чтобы заполучить золото, но золото тоже оказалось проклятым. — Она обернулась к Гураму: — Я мельком слышала ее там, на берегу реки, когда вы включили транзистор. Видно, всю оперу транслируют. Жаль, что раньше не включили... Сейчас будут петь дочери Рейна...


Все отдались музыке. Я оглядел общество: все сидели притихшие. Один лишь философ продолжал возбужденно размахивать руками. Видимо, Вагнер дошел до предела пафос, с которым он живописал закат Запада. «Гибель богов! Гибель богов!» — несколько раз отчаянно воскликнул он, явно имея в виду Запад и порицая его, словно боги погибли только там.

— Золото Рейна в окрестностях Арагни великолупно! — сказал Гурам.

— Да еще в обществе гидрологов! Тоже неплохо! — подхватил Бондо. Ни тот, ни другой Вагнера наверняка никогда прежде не слышали. Впрочем, и я тоже «балдел» от Вагнера и вообще от музыки когда-то давно, в студенческие годы. Мы тогда собирались вместе и слушали музыку в доме у одного из наших друзей. С тех пор прошли годы и годы... прошли без музыки. Теперь я, по правде говоря, вообще ни от чего не «балдел». Сын мой двадцать четыре часа подряд слушал джаз. Теперь была его очередь «балдеть».

— Кровь ведь тоже содержит золото, — донесся до меня голос Ламары, которая, судя по всему, продолжала просвещать Бондо. Наверно, покружит, покружит вокруг да около, а потом через кровь снова вернется к желчному пузырю, — и тот у несчастного Бондо окончательно воспалится.

— Да-да, золото! — повторила она, и я вдруг вспомнил, как однажды в детстве брат моего дедушки сказал мне, что в некоторых видах песка содержится золото. Возле нашего села, за пшеничными полями, текла речка, бравшая начало высоко в горах. Там, у ее истоков, брат моего дедушки ловил форель. С помощью живой форели, шерсти ягненка после первой стрижки и, кажется, овечьей кожи лечил он всевозможные переломы. Готовил и разные другие снадобья. Частенько брал с собой меня. Все повторял, что я подрасту, — и он научит меня своему искусству; когда собирался учить — не знаю, он словно чего-то выжидал. Во время каникул мы ходили с ним за огороды и луга, на берег речки, и копали там какие-то клубни, помогавшие, по словам деда, при малокровии. Я рассказывал о своей жизни, своих мечтах и планах. Он опять повторял, что должен меня научить. Я, не желая его огорчать, согласно кивал головой. Потом, женившись, я стал ездить туда все реже: жена не любила деревни. Теперь уже беседа у нас с дедом клеилась плохо. К тому времени он сильно сдал. Почти совсем не видел. Веки у него обвисли, обнажив испещренные мелкими красными жилками глазные яблоки. Глаза не удерживали слез, и порой, когда он сидел на солнце и из глаз у него ручьями текли слезы, казалось мне,



что он плачет красными слезами. На коленях сложенные похожие на перевернутые глиняные миски коричневые, пятнистые кисти рук, голова непрерывно трясется. Теперь он уже не говорил, что должен меня научить. Сам я тоже об этом не помнил, а если когда и вспоминал, то ему ничего не говорил. Недалеко от нашего села, на вершине одного холма, было небольшое безымянное озеро. Наш институт проектировал расширение этого озера, в связи с чем мне пришлось как-то целый месяц там провести. Озеро мы расширили, но почему-то река в нашем овраге обмелела, а потом и вовсе пересохла. Сначала я удивлялся: ведь казалось бы, какая связь между нашей рекой и тем озером? Потом решил: видно, независимо от озера пересохла, сама по себе. И вот говорит мне как-то брат моего деда: ступай, дескать, вверх по реке, найди там такое-то растение и принеси мне его корни. Я в тот день очень устал, и мне ужасно не хотелось никуда идти, но я все же пошел. Облазил там все вокруг, но нужное растение так и не нашел. То ли просто я не сумел его найти, то ли оно не взошло той весной. Пришел и говорю деду: не нашел, дескать. Видно, не растет больше, ведь речка-то пересохла, — отвечает он. А когда я, уезжая, подошел к нему попрощаться, он вдруг и говорит: нет, мол, тебе этому не научиться. Я был уверен, что он давно и думать забыл о своем обещании, и очень удивился. В том же году дед скончался. А я с тех пор частенько задавал себе вопрос: чего он ждал? почему не учил меня? Но так и не нашел ответа и постепенно забыл о нем.

Как-то я рассказал об этом жене, и она сказала: а было бы совсем неплохо, если бы научил, этим можно хорошо зарабатывать. И тут же сама себе возразила: хотя куда, дескать, тебе людей лечить. Не было на свете вопроса, который она не свела бы так или иначе к моему «невыносимому» характеру. Даже в болезни детей всегда умудрялась обвинить меня. Я не спорил. Даже считал это естественным, так как к тому времени уже смотрел на женщину как на существо, с которого спрос маленький; о лучшем же варианте даже помыслить считал безумием, частенько повторяя высказывание одного моего приятеля: «Женщина есть женщина, а разъяренная женщина — это же-

на». То, что я не испытывал любви к жене, меня уже не огорчало, это я считал вполне нормальным. Беда была лишь в том, что порой мной овладевала жуткая раздражительность: все в жене раздражало — манеры, выражение лица, то, как она меня встречала, как подолгу фальшивым голосом беседовала по телефону, противно растягивая слова... Слава богу еще, что вне дома я проводил гораздо больше времени, чем дома, так что все это было терпимо... Ну вот, все эти неприятные воспоминания снова испортили мне настроение.


Ах, да, чуть не забыл: тогда в башне она сказала мне нечто поразительное. Она сказала, что жизнь нужно разгадывать как сон, что у каждой жизни есть свои символы... И сказано это было не так, как, например, это сказала бы Ламара, проевшая Бондо все мозги с этим желчным пузырем. Она произнесла это так, словно сама была одержима этой мыслью и делилась ею со мной, как откровением... Я и тогда, а особенно потом все пытался вникнуть в смысл этих слов (было ощущение, что я всю жизнь ждал их). И вот теперь, описывая нашу поездку, не знаю, руководствуюсь ли я этой мыслью или же и без нее рассказал бы все точно так же.

Уже смеркалось, когда мы подъехали к Шатили. Я внутренне весь съежился в ожидании некоего знакомого и неприятного, до конца не понятого мной ощущения. Башни внезапно вынырнули откуда-то и вознеслись ввысь, словно готовясь напасть на нас. Издали видны были мигавшие у их основания огоньки — по одному, по два, и мне снова пришло в голову то, что подумалось тогда, в самый первый раз (и что приходило на ум всякий раз по приезде сюда): я снова сравнил их с умирающим с иссохшими, ввалившимися губами и почерневшим лицом, у изголовья которого безутешно мерцает пламя двух свечей... В автобусе слышались восторженные возгласы. Я же не мог восторгаться умирающим. Видимо, другие острее чувствуют красоту, а я — смерть. И так ненавистны мне смерть и умирание, что даже думать об этом не могу. Дважды в жизни довелось мне наблюдать смерть близких, и каждый раз я жаждал одного: поскорее убежать подальше. С мертвыми у меня не было ни-

чего общего. Нет, не могу выразить словами свои тогдашние ощущения. Ну как это выразишь? Я не мог заставить себя даже смотреть в ту сторону, где уже ничем нельзя было помочь. И вообще избегал разговоров о смерти и о покойниках...

Но вернусь к рассказу о том, как все было.

Мы вышли из автобуса. Навстречу нам бросились родственники и приятели Важи. В этом году на Атенгеноба, как объяснил нам Важа, собиралось множество шатильцев. Все покинувшие эти места сговорились приехать на этот праздник с семьями. Среди них, конечно, будет множество таких, кто покинул Шатили еще в детстве и с тех пор не видел его, много и таких (их детей и внуков), кому предстояло ступить на эту землю впервые. В последний раз я приезжал сюда четыре года назад, по делу. На праздник попал случайно, и прошел он как-то безрадостно и бесцветно. Но на этот раз здесь и вправду было очень многолюдно. На правом берегу Аргуни выстроились в ряд автобусы, грузовые и легковые машины. Повсюду виднелись палатки и костры. Возле них сновали люди. Много было и женщин. Чувствовалось какое-то возбужденное, приподнятое настроение. Наши перешли мост и по тропинке направились к башням. За башнями, на священной горе в это время, видимо, резали скот — по всем правилам приносили жертвы и молились. Я не пошел со всеми, а остался на берегу Шатилуры, смешался с толпой и стал высматривать Агато. Ее нигде не было видно. Обратил внимание на мужчину средних лет с маленьким, лет трех, ребенком на руках: он рукой указывал ему на башни, что-то говоря при этом; что он говорил, я не слышал, но видел, как по его обветренному лицу катилась слеза. Еще мне бросилась в глаза светловолосая девушка с большими голубыми глазами в длинной юбке в складку. Она обнимала согбенную старушку и говорила ей: ну вот, бабушка, ты и увидела еще раз свой Шатили, ты ведь просила: не дайте без этого умереть. Старушка молча кивала головой, не отрывая глаз от башен и непрерывно крестясь, потом дрожащим голосом попросила помочь ей подняться туда. Говорила она с хевсурским акцентом. Так бродил я в толпе, разглядывая народ. В одном месте собралась стайка семи-



восьмилетних мальчиков. Один из них указывал на башни: «Вон та, видите, с балконом, вот это была наша башня». Они решили подняться туда и через некоторое время уже выглядывали из окон башни.

Впервые я приехал в Шатили студентом. С друзьями. Тогда тоже, как и сейчас, был праздник Атенгеноба, и с Важей я познакомился именно здесь. В те времена праздник этот еще сохранял былое величие, и все здесь так меня потрясло, что я, вернувшись в Тбилиси, по ночам не мог спать — в ушах все звенел мощный, словно колокол, голос хевисбери:

Величие Богу, благодарствие  
Богу!  
Исполни Ты силою победной,  
Боже,  
Небесную, неугасающую  
Мать,  
Воздай милосердно тому, кто  
Священное вино жертвоносит  
Тебе.  
Вот на собор твой сошли  
Скрестившие на сердце руки,  
Взывают о помощи,  
Боже...<sup>1</sup>

Запомнились знамя с бубенцами и худые, жилистые пальцы хевисбери на древке этого знамени. Гул толпы, зажженные свечи, молитвы. Запомнился бесштаный карапуз, видимо, удравший от матери и сопятащивший за собой огромный меч. Ты куда? — спросил я его, и он, даже не взглянув на меня, хмуро отвечал: «Туда, в хати»<sup>2</sup>, — и потопал дальше. Молодая, очень бледная женщина в трауре стояла на коленях неподалеку от хати и молилась. На руках она держала младенца. У ребенка были неправдоподобно маленькие пальчики, и он то и дело бессильно прикрывал глазки. Я заметил, что на женщину издали, скре-

---

<sup>1</sup> Перевод стихотворений принадлежит Марине Табукашвили.

<sup>2</sup> Хати — святилище у горцев Восточной Грузии.

стив на груди руки, пристально смотрит молодой хевсур с худым и бледным лицом. Позже мне рассказали то, о чем я и сам догадался: женщина эта была вдовой; мужчина любил ее с детства, но женщина и близко не подпускала его к себе. Снова послышался гулкий, как колокол, голос хевисбери:

Боже праведный,  
Боже милосердный...

Вернувшись в Тбилиси, я тогда подробно описал все это, сидя за столом в своей маленькой полутемной комнатке. Вспомнилось одно место из моего дневника:

«Я сторонился людей и бродил в одиночестве... Думал о том, что сейчас, наверно, вокруг нас, на вершинах гор расселись все те невидимые существа, к которым взывает этот молящийся люд: бесчисленные святые Георгии с красными крестами, Квирия и Ломиса<sup>1</sup>, Богородица с нимбом над головой, святая Нино в белом платье, с вплетенными в волосы цветами, могущественная Пиримзе, Копала<sup>2</sup> с огромными, как сито, глазами и сияющая Иахсари<sup>3</sup>... Расселись вокруг, держат в руках звездные факелы и взирают на усеянный зажженными свечами Шатили. Потом я очутился на кладбище за башнями, вблизи хати. И казалось мне, что луна в ту ночь была раза в два больше обыкновения, да к тому же еще очень плотной и какой-то жадной, готовой впитать в себя всех и вся. Воздух наполнился стройным гулом празднующих. И казалось мне в этой окрашенной лунным светом, изорванной голосами ночи, что вот-вот разверзнутся могилы, из них с песнями выйдут мертвецы и с желтым смехом присоединятся к хороводу».

Воспоминание об этой моей студенческой записи вызвало на моем лице улыбку. Лучше мне было больше не возвращаться сюда и навсегда сохранить то первое впечатление. Ведь десять лет спустя, снова попав на этот праздник, я застал здесь лишь пьяное сбо-

---

1, 2, 3 Святые синкретического религиозного пантеона, органически совмещающего христианские представления с языческими элементами и обрядами.



рище и ничего больше. Того хевисбери уже не было в живых. Какой-то молодой мужчина в длинном черном одеянии, длинноволосый и длиннобородый, упал перед хати наземь, извиваясь всем телом. Потом вскочил и стал колотить себя кулаком в грудь и истово креститься. Потом куда-то убежал. Женщины шушукались: дескать, юродивый. Мужчины ругались. Словом, царила полная неразбериха. А в последний мой приезд, несколько лет назад, перепивший дьячок заснул и вместе со знаменем повалился наземь. Наверно, поэтому и не пошел я сейчас туда вместе с нашими. Подумалось, правда: а вот если сейчас взять да и присоединиться к молящимся, о чем стал бы я просить Бога? Думал, думал, да так ничего и не придумал. В это время ко мне подошел знакомый, родственник Важи, и пригласил на пиво. Поднялся из-за стола слегка захмелевшим. Снова стал высматривать в толпе Агато и, не обнаружив ее, направился к перекинутому через Шатилуру мостику, намереваясь подняться к башням. Но едва я ступил на мостик, как где-то у меня за спиной раздались звуки пандури, а вслед за ними и пение:

Опять спустился с го-ор  
Желанный тво-й.

Мороз пробежал у меня по коже. «Это Агато, — сказал я сам себе. — Проклятие! Нашла время! Праздник — и вдруг плач! Словно на панихиде! Наверно, какие-нибудь бездельники упросили». Я повернул назад. Она сидела на камне. Вокруг нее расселись какие-то люди, в основном горожане. Увидев меня, она тут же отложила в сторону пандури и обняла меня.

— Как поживаешь, Агато? А я тебя ищу.

— Да какое наше житье, сынок. Торчим тут, и мы, и эти несчастные башни, никому не нужные. Никто сюда больше не заглядывает. Крапива вот со свету нас сживает, видишь, неделю назад скосила — она уже опять поднялась. Растет и растет, проклятая, когда ее ноги человеческие не топчут, — никакая коса не помогает. Постарела я, милок, видно, смерть уж меня поминать стала, — сердце так и поет, так и хнычет малым дитяtkом... Затяну вот иногда песню, изолью наболевшее, другого сердце уж не принимает. И тебя

вспоминаю, как ты мне тогда сказал: не надо, мол, не пой. Хоть бы приехал когда, хоть бы навестил, <sup>думаю</sup> я б ему только о любви и пела.

Лицо у нее совсем сморщилось, волосы тоже совсем поседели, но глаза и серебряные серьги по-прежнему соперничают друг с другом в яркости блеска. Агато — тушинка, невестка шатильцев. Важе, кажется, теткой доводится. Муж у нее похоронен в Шатили, одна дочь замужем в Пшави, другая — в Тушети. Дети звали ее жить к себе, но Агато не бросает башни. Время от времени навещает дочерей: погостит немного — и назад, домой. Когда сердится — говорит с хевсурским акцентом, когда на жизнь жалуется — с пшавским, а ежели к кому ластиться начнет — переходит на тушинское наречие.

Я познакомился с ней, когда приезжал сюда с геологами (это был мой второй приезд в Шатили). Палатка наша стояла на берегу Аргуни, и она частенько навещала нас, приносила нам каду<sup>1</sup>... Ребята просили ее спеть, и она пела. Пение Агато относилось к числу явлений, которые я совершенно не переносил. У нее был такой жалостный голос, что у меня от него все нутро переворачивалось, и это перевернутое нутро доставляло мне мало удовольствия. Как-то раз застала она меня в палатке одного. Я сидел на полу, вытянув ноги и прислонившись спиной к сваленным в углу рюкзакам. стакан стоял тут же, рядом со мной, на полу, и я был вдрызг пьян. Агато, — сказал я ей тогда (и почувствовал, какой мрачный и сиплый голос вырвался из моего горла), — при мне никогда не пой таким голосом эти свои плачи или как они там называются... ладно? И вообще не пой, Агато, слышишь?

— Тяжко, сынок, тяжело, разве ж я не понимаю, — пробормотала она и больше ничего не сказала. Пока мы с этими геологами были там, помогали ей, чем могли: скосили крапиву, расчистили все вокруг, кое-где обмазали глиной стены ее башни, подперли их камнями. Ко мне она почему-то особенно привязалась, и мне чаще других доводилось слышать ее мягкое тушинское наречие. Глаза у нее и тогда были такие же черные и блестящие, и годы ничего не могли с ними

<sup>1</sup> Када — вид печенья.

поделать. По всему было видно, что была она в молодости очень хороша собой, о чем я ей и сказал как то: дескать, жаль, что не застал тебя молодой, не то знаешь, что б я сделал! — Что? — засмеялась она. — Убил бы твоего мужа, а тебя бы похитил — и пусть бы эти твои бешеные хевсуры попробовали меня догнать. — Опять засмеялась и говорит: — Тогда уж лучше нам было еще раньше встретиться, зачем убивать моего мужа, хороший был человек.

— Агато, я к тебе поднимусь, прилягу немного.

— Мне с тобой пойти или один пойдешь?


— Один пойду.

— Ступай, сынок, потом и я приду, там и пивса есть, и када.

Я обнял ее за плечи и пошел прочь. Забрал из автобуса свой рюкзак, где у меня было кое-что для Агато. Перейдя мост, нагнулся и понюхал бледно-розовый горный мак. Двинулся вверх по тропинке, едва различимой в зарослях крапивы. Добрался до башни Агато и вошел в нее. Постоял у прорезанного в каменной стене окошка, сверху глядя на Шатили. Голова у меня пылала, и я прислонился лбом к прохладной стене. Внезапно понял, что быть здесь одному мне не хочется. Вспомнил о Меги. Вышел. Уже совсем стемнело. Я был убежден, что иду на поиски Меги. Только перешел через мостик, как увидел «Розовую». Она сидела одна на берегу Аргуни, упершись подбородком в колени... Несмотря на темноту, я сразу узнал ее. От чего-то сжалось сердце. От жалости, что ли — не знаю... направился к ней. Что я собирался ей сказать — не имел представления... Помню, успел подумать, что в любом случае, ответом будет: «Нет!» Это ее упрямое «нет». Только подойдя совсем близко, вспомнил, что не знаю ее имени. Показалось странным, что за всю дорогу ни разу его не слышал... Но раздумывать было некогда... Я и сам не заметил, как положил руки ей на плечи...

Она вздрогнула. Вскрикнула и обернулась.

Отступать было поздно. К своему собственному удивлению, я открыл рот и произнес: «Хочешь, пойдём ко мне в башню?» — и, к еще большему своему удивлению, спокойно добавил: «Останься сегодня со мной».



Уж насколько странным было то, что сделал я, однако то, что за этим последовало, показалось мне еще более невероятным, и, собственно, с этого все и началось: от моих слов лицо у нее просияло, прямо заискрилось все, словно я приглашал ее в святилище! А между тем смысл моего приглашения был абсолютно ясен. Я приглашал ее в башню не затем, чтоб наблюдать за муравьями и хоронить майских жуков. Мы были практически не знакомы. Если бы мне встрети-лась Меги, я пригласил бы ее (я ведь отправился на ее поиски). Она сама должна была это понимать. Когда женщина вот так идет с тобой, заранее зная, что тебе от нее нужно, лицо у нее обычно бывает совсем иным. Либо чуть напряженным, либо наглым, либо притворно-смущенным, либо довольным, либо глупо-веселым, — в зависимости от опытности и характера. Я мысленно поочередно поставил на ее место некоторых знакомых женщин и обратился к ним с теми же словами — почти все они удивленно переспросили: «В башню? Зачем?» Одна-две неестественно рассмеялись: «А это не опасно? Меги спросила: «А можно? Ужасно интересно, как она выглядит изнутри, к тому же оттуда, наверно, чудный вид...» И все они, конечно, пошли со мной, и все прошло нормально... Дело было в том, что веселье и удовольствие сами по себе вовсе не удивительны, но такие сияющие от радости лица мне до сих пор доводилось видеть лишь у детей, а уж чтоб кто-нибудь так светился радостью от подобного предложения, да к тому же еще исходящего от почти незнакомого мужчины — такое я видел впервые и, кажется, даже рот раскрыл от изумления.

— Правда? — сияя, воскликнула она и протянула мне руки. Я взял ее за запястья и помог подняться. И в эту минуту подумал, что она очень красива.

Пока мы поднимались по тропинке, пару раз сбоку взглянул на нее: радость не сходила с ее лица. Я был смущен, но не подавал виду, вел себя, словно все так и должно было быть.

Окончание следует

Перевод Людмилы КРАВЧЕНКО



## ИСКАТЕЛИ СОЛНЦА

«Катись, катись,  
мой хлебный шарик!  
Дорогу к солнцу накати!»  
Песня искателей солнца.

**М**ы сидим на деревянной скамеечке между двух цветущих вишен. Их ветки создают небольшие тени и прикрывают нас от солнца... У него на коленях мне всегда удобно, тепло, радостно. Я осторожно кладу на его худую грудь свою голову и смотрю на тропинку, убегающую куда-то за заросли, на муравьев, ползущих по треснутой коже дерева, на клочки неба, виднеющегося между цветущими ветками.

Вокруг стоит пьянящий запах вишни, не столько усыпляющий, сколько возбуждающий, зовущий к жизни, к радости.

— Бабу!<sup>1</sup> Это место нам солнце показало? — спрашиваю я и трогаю его седые волосы, которые торчат из расстегнутой серой сорочки как мягкие кудрявые проволоки.

— Да! — отвечает он, не открывая глаз.

— А почему? — не отстаю я.

— Кто ищет дорогу к нему, никогда не отдыхает. И чтобы он не выдохся, не ослеп и не оглох, или чтобы сердце его не стало каменным, оно дает минуты золотого отдыха.

— Каменные сердца бывают?

— Сердце всякое бывает! Даже такое жидкое, как этот сок, выходящий из дерева!

...Мы с наслаждением откусываем куски от длин-

---

<sup>1</sup> Бабу — от «бабуа» — дедушка (груз.).

ного, намазанного смальцем хлеба. Долго-долго жуем и с аппетитом глотаем. Он откусывает с одного конца, я — с другого, а посередине хлеба лежит изюм: кто первый дойдет до него, тот победил, тому и изюм достанется. Почему-то изюм и большой недоеденный дедом кусок хлеба всегда достается мне. Я — победитель.

— Бабу! Скажи, как найти дорогу к солнцу?

— Не надо тебе ее искать! Кто ее ищет, тот искателем и уходит от людей!

— Куда уходит, бабу?..

— Туда, где начинается тень солнца!.. Солнца на земле нет, есть только лучи и его жар!

Не сказав больше ни слова, он положил руки на потертые галифе, охая и пыхтя встал и вышел из комнаты, унося с собой резкий запах пота и табака, столь любимый и приятный мне...

Иногда, когда никого не оставалось дома, кроме меня и его, мы выходили на задний двор и становились спиной к солнцу. Он протягивал вперед руку с круглым шариком белого хлеба и пел низким старческим голосом: «Катись, катись, мой хлебный шарик! Дорогу к солнцу накати!». Повторив несколько раз эту песенку, он подбрасывал шарик вверх и закрывал глаза.

— Почему мне самому не надо искать дорогу к солнцу? — вновь спросил я.

Он посмотрел мне в глаза своими темно-коричневыми глазами, такими глубокими, что в них можно было утонуть, потрепал меня по щеке, провел ладонью по лбу и грустно сказал:

— Тебе тяжело будет жить!..

— Почему, бабу?

— Тому, кто знает, как искать дорогу к неземному, не очень весело живется на земле!.. — сказал он. Я поцеловал его в морщинистую щеку.

— Почему, бабу, шарики из хлеба, а не из свечи или из стекла, пластилина?

— Они все не живые, в них жар жизни входит только от человека. А в хлебе есть и жар солнца и пот человека! Хлеб горит, когда он спел, у него и цвет горящего, спелого величия, величия солнца! То-

лько пот помогает человеку заставить хлеб найти до-  
рогу к солнцу!..



Я любил играть с ним в прятки. Он клал свои длинные, костлявые руки на наш длинный деревянный стол. Голубые толстые вены выступали, почти вырываясь, из его шершавой морщинистой кожи. Я опускал на них свои маленькие ладони и, смеясь, пытался накрыть его руки своими, но это мне никак не удавалось — прятки, так мы называли нашу игру.

Он тоже смеялся, как может смеяться тысячетлетний дуб, медленно раскачиваемый весенним ветерком.

— Какие у тебя большие руки, бабу!..

Мои ручонки тонули в его больших ладонях и, улыбаясь, целуя меня в лоб теплыми, влажными губами, он говорил:

— Наступит осень! И вместе с ней придет весна! И, как хлеб, своей огненной желтизной и своей жаждой к жизни она покроет своим могучим теплом землю! И я также спрячусь под теплом твоих больших рук!


— Осень не бывает вместе с весной, бабу! — смеюсь я. — Она всегда после лета! Ты все напутал, бабу! Напутал!

Он берет меня на руки и убаюкивает. Я лениво медленно закрываю глаза и засыпаю под его сладкий, как мед, голос.

— На земле, как и на небе, все бывает! Только надо это увидеть! Баю! Баю! Зерно, попадая в землю, если не умирает, то остается само собой, а если умрет, то даст стебель, корни и плоды. На-а-а-на-а-а! Весна всегда маленькими неуверенными шагами входит в осень, чтобы ею овладеть! На-а-а-на-а-а!

Я становлюсь легким, как пушинка, и лечу, раскачиваясь, над волнами огромного желтого хлебного поля. А откуда-то издали слышен дедушкин голос:

— Если находишь дорогу, то не к солнцу, а к дороге к солнцу. Кто больше ищет, тот ближе подходит к ней. Мало кто находит ее. А дорога, наверное, там, за тенью солнца...



Я лечу, лечу, и нет конца этому величественному зрелищу, спелому, животворному, сияющему, как Божественное Солнце, хлебному полю...

## ДЕРЕВО СИТТИМ

Сказка

— И расскажу я вам...

Звук, точно вода в его зеленой бутылке, а слова, как шарики воздушные, присосались к стене и, порой мягко отскакивая от гладкой зеленоватой стеночки, лавируя, поднимаются вверх и, вырываясь, превращаются в тертый, как джинсы шестилетней давности, городской воздух.

— Тех, кто слышат, — много! Тех, кто думают, что думают, — много! Тех, кто думают, что понимают, — много! Тех, кто думают, что молчат, — много! Тех, кто думают, что чувствуют, — тоже много! Но тех, кто не думает и не молчит, — М-А-Л-О! — говорит он, проводя волосатым пальцем с плоским поцарапанным ногтем по краям мокрых от слюны губ сливового цвета.

— А ты-то кто? Кто из них? — Хорошо, когда кто-то много говорит, он поглощает все лишние звуки вокруг, и, не обращая внимания на его болтовню, можно отдохнуть. Можно поднять руки вверх и, прикрыв таким образом лицо от стреляющего в тебя жаркого солнца, откинуться на высокое, обтянутое блестящей, местами потрескавшейся синтетической кожей кресло и иногда поглядывать на носочки своих ботинок. — Ты, наверное, из последних в твоей классификации человеческого рода?

Он закрывает один глаз и прищуривается, смотря на мои ботинки, а нос у него скрипит как несмазанная петля.

— Я мх-мх! Гамлет, если можно так сказать! Зовут меня так!

— Да-а! — зеваешь ты, с трудом расчлняя заклеенные губы. — Так модно было называть! Но очень, очень давно!



— Да-а! — передразнивает он тебя. — Когда-то очень много было чего, чего не было никогда.

И тут он поднимает на тебя свой неприщуренный глаз и пристально смотрит тебе в лицо.

— Но говорят, что нет ничего, чего бы не было. — Ты чувствуешь, как кто-то берет тебя за уши и поднимает вверх, и ты повисаешь в воздухе как пух, и тут происходит еще более невероятное — тебя скрючивает, вдавливают как пластилин, и ты, ничего не понимая, вдруг срываешься и влетаешь ему прямо в глаз.

— Куда это я? — шепчешь ты, но именно в эту минуту начинаешь понимать, что это не на тебя смотрят так пристально, а ты сам рвешься заглянуть в то, что заслонило перед тобой весь мир. И заглянуть именно в глаз, где слова обретают осязаемый смысл, а смысл — желто-зелено-красно-черно-голубо-оранжево-белое очертание.

А он продолжает бубнить, как будто ничего не происходит. И ты стараешься быть спокойен, как может быть спокойен человек, с достоинством летящий с крыши высотного дома.

— Да! Когда-то тоже многое говорили, — скребет его голос по глазам и царапает на них звуки. — Говорят, и небо было землей, и земля была землей, и земля была небом, но и небо было небом. И был это так давно, что об этом даже деревья и горы не помнят; и это неспроста, ведь они самые древние на этом свете. Вот как давно все это было. Говорят, тогда люди смотрели вверх и вперед, и этого было достаточно, чтобы ходить, потому что не было тогда ничего, что мешало бы человеку ходить, и не было выше человека ничего. И потому было у людей счастье, и была у них на лице только радость. Ведь когда человек смотрит вверх — всегда улыбается; и говорят, все они были нагими, не видели они наготы своей, но видели чужую — но не могли сравнить со своей, и потому не было у них стыда или зависти к другим. Но были у них небо и горизонт. Говорят, тогда не было слов — лишь пение, и пели люди непрерывно, и не чувствовали одиночества. И не было слов «вчера», «завтра», «утром» и «вечером». И не было слова-горя «время»... Глаза у людей были голубые,

сплошь голубые, как подпрыгнувшая в небо волна. Потому что не отличали они друг друга и дышали все как один; и спали они, склонив голову на плечо и не закрывая глаз, чтобы не терять счастья. И было у них счастья, столько, сколько может выдержать шея. Ведь счастье нам только на шею и давит, как петля несчастий.

— Кх-кх-кх...

Здоровались они друг с другом, прикасаясь лицами и коснувшись ресницами правого или левого глаза, и ресницы заигрывали с ресницами, и глаз слезился, смывая в другом глазу слезу; и боль радости ощущали они одинаково; и в глазах друг у друга видели отражение того, что каждый видел вокруг себя. Не было у них тайн друг от друга, потому что тайна — это нераскрытая боль, и она всегда тяжелее человеческого тела. И тайна отрывает тебя от близких, она же отрывает тебя от мечты и ставит лицом к лицу с неизвестностью, дробя счастье в слова, а слова — в молитвы.

Тогда небо было как море, и не было облаков на нем, а было волнение, как зыбь, и смотрели люди на это с радостью. А чаще всего прыгали в него с веселым криком, и от наслаждения глаза становились широкими, широкими, превращая лицо в два голубых шара.

Нельзя сказать, что все поголовно были счастливы, но, говорят, жили они уютно, в покое. А это самое главное. Ведь счастье может быть и без покоя, но тогда оно мучительное счастье. Весом они были не тяжелее самого человека. А вес человека, когда он не тяжелее самого себя — это вес бабочки. Так и называли они себя человеко-бабочки. И прикасались они ко всему как бабочки. Ведь счастье нельзя обнять, к нему можно только прикоснуться. Жили они сами тоже как бабочки. И был у них день без тени и солнце без ночи. Потому что не было на земле одиночества и страдания. И солнцу нечего было стыдиться, и не было потому и ночи, ведь ночь это стыд солнца за неспособность свою. Так же как тень — для дня.

И был среди них один с зеленым оттенком в глазах, потому что ел он много травы с небесного по-

ля, и лоб у него был в морщинах, он всегда морщил лоб, когда встречался с другими,

— Зачем ты это делаешь? — спрашивали его.

— Когда я прыгаю и воздух прикасается к моему лбу, я заставляю его пройти по морщинам.

— Зачем? — не сдерживали смеха другие.

— Так я проветриваю мозги, лучше думаю и лучше мечтаю.

Он всегда оправдывался за то, что много ест, и выдумывал разные истории. Раз он сказал:

— Если пальцы держать в ноздрях, а ртом набирать воздух, то можно настолько раздуться, что можно будет увидеть внутренности, как в стеклянной банке жуков.

И что же — надувался, надувался, надувался, пока не закружилась у него голова и не заснул он от усталости, склонив голову на плечо...

А однажды он решил догнать свое дыхание и узнать, как оно пахнет, но сколько ни старался, никак не мог этого сделать. И сказали ему другие, радовавшиеся его проказам:

— Ты хочешь догнать дыхание и понюхать его?

— Даа! — крикнул он.

— Свое дыхание только на горизонте можно догнать, но не спеши, смотри, чтобы волосы не развевались на ветру, потому что волосы — нервы дыхания, если они развеваются — это значит, что дыхание испугалось.

— Даа?! — обрадовался он совету.

— А когда догонишь, приходи и расскажи нам.

— Да, да, — повторили все, — нам очень интересно.

— Да, да, беги, беги, — кричали все и прыгали от радости.

Так как он очень спешил, то от большого усердия быстро устал. Ноги начали заплетаться, он поскользнулся и упал... И наступила земля ему на глаза, как слон наступает на упавшие яблоки.

Так неожиданно и так близко он землю никогда не видел.

— Ой, — застонал он от боли и, закрыв глаза, исчез. А когда боль прошла и появилась прохлада и твердость, он опять начал появляться и открыл глаза.

«Вот трава и стебли ее (трава как бы в страхе застыла перед его глазами, лишь иногда покачиваясь), вот камень под моим лбом, а рядом жук ползет», — шептал он самому себе, и вдруг понял, что не поет, и дернулся, и перевернулся на бок.

— Ааа! Ааа! — звучало вокруг всеобщее ликование, а он лежал, зажав рот и широко-широко открыв глаза. — Бааа! Что со мной? Почему я не пою... сейчас запою, — он быстро встал и, шлепая ногами, старался поймать нужную ноту: — До-до, фа-фа, ре-ре, ми-ми... Что со мной случилось, — я лежал или упал? Если упал, почему сейчас бегу? А если лежу — как же могу бежать? Фа-фа, ре-ре, ми-ми, — махал он руками, не замечая, что топчется на месте. — Где я? Я здесь. А что значит «здесь»? Надо подумать, надо подумать... Ой-ой, — вдруг испугался он. В глазах у него потемнело. Кровь со лба попала ему в глаза и ослепила его. — Упасть — это значит удариться лбом о камень, еще это значит обнажить грудь, и это значит, что все исчезнет, потому что падать — это значит земля закроет тебе глаза, потому что она устала носить тебя, и ты должен лечь рядом с ней, и земля вернет тебе боль, столько, сколько ты причинил ей. — Он протянул пальцы, чтобы дотронуться до травы, до камня, он думал, что раз ничего не видно — стало быть, он опять на земле лежит... А две капли крови застыли у него в глазах, так и не смыли их слезы. Потому и говорят — глаза твои — это кровь со лба, они говорят о том, о чем думает лоб твой, потому так часто мысли ослепляют глаза. — Земля, если лежать на ней ничком, тоже небо, потому что она перед тобой, — думал он, медленно шагая обратно к своим. — И в нее нельзя прыгнуть, можно лишь упасть, лечь, и ходить по ней тоже можно. Где я упал, там мое место, потому что не могут люди зря падать, зря можно только прыгать, а падаем мы только там, где нам дано упасть. — Он шел, потирая поцарапанный лоб с застывшей струйкой крови. Он пару раз подпрыгнул вверх, но всего лишь для того, чтобы прощерить себя. — Ага! Она твердая и крепкая, еще она бьет больно! — думал он, вспоминая про свой лоб и опухший нос. — И чем больше мы будем ходить по ней, тем сильнее она будет. Значит все,

что сильнее — внизу, и она смотрит на нас снизу. И снизу когда бьют — всегда в десять раз больше, чем когда сверху... Вот потому-то мертвые улыбаются, когда их кладут в землю. Они знают, что будут сильнее нас, и будут сильнее земли. Вот потому яблоки на кладбище в десять раз вкуснее, чем в саду, а цветы в сто раз горделивее, чем где бы то ни было... Потому что они дают нам знать, что под землей лучше, чем на земле, — обрадовался он своим мыслям.

— Зе-мля! — обрадовался он и решил посмотреть на то место, где стоял. — Зем-ля!

И почувствовал, как что-то лопнуло у него в затылке, и полилась кровь, глаза стали тяжелыми, и голова стала опускаться медленно-медленно, как рука, уставшая держать кувшин с водой. Голова опускалась, пока подбородок не коснулся груди. Вот так, стоит человеку хоть раз опустить голову, она начнет опускаться и опускаться. Вот и становится человек покорным, а быть покорным — это значит сломать шею и не иметь человеческого счастья.

Он увидел, как несколько капель крови упали на камень и на траву, и опять удивился. Взяв камень и сорвав траву, он пошел дальше, медленно напевая простую, нехитрую мелодию:

— Вот камень, вот трава, а вот на них несколько капель моей крови, значит, не только я могу падать, но и с меня может падать что-то, и не только на землю, а именно на то, что на земле...

Но тут его мысли прервали те, кто ждал его с нетерпением, а их стало в сто раз больше, чем было. Он почувствовал неловкость и спрятал траву и камень за пазуху, и, чтобы его не расспрашивали, решил пройти не поднимая головы. Но его стали толкать и смеясь спрашивать:

— Ну что, понюхал ты?.. Скажи — понюхал?..

— Что? — нехотя спросил он.

— Ну как что, дыхание!.. Скажи, ну скажи, как оно пахнет?

— Что пахнет? — раздраженно спрашивал он, продолжая идти.

— Ну как что, ды-ха-ни-е.

— Оно пахнет землей, — сказал он.

Они рассмеялись. И начали отходить от него, по-

ка кто-то не заметил, что он смотрит не туда, куда надо, и тогда они раскричались.

— Посмотрите, все посмотрите, куда он смотрит! Что ты делаешь, куда ты смотришь, бесстыдник?

— Я смотрю на небо, — разозлился он.

— Зачем же ты смотришь вниз, небо же наверху, дурачок!

— Не-ет! Мое небо под моими ногами! — закричал он.

И еще больше стали смеяться другие, и еще больше начал злиться он, и поднял он глаза на них, и было у него в глазах два больших коричнево-красных круга от запекшейся крови. И закричали все.

— Что с ним, что с его глазами? Посмотрите, у него в глазах яблоки!

— Не-ет! Это не яблоки, это моя душа.

И он был прав, потому что кровь — это душа тела. А глаза — это светильники души.

Но не поняли его другие, потому что душа тела — одно, а душа человека это другое. Ведь счастливые могут быть только счастливыми для себя, для несчастных они как зеркало для уродов.

И рассмеялись все и начали отходить от него, а смех уходящих хуже смеха остающихся, ибо они уходят в прошлое, а прошлое как волосы, — сколько ни режь, все равно вырастут. И не выдержал человек, и кинул камень в небо. И выбросил траву.

— Вот вам камень, вот вам трава! И мое небо заслонит вам небо, потому что мое небо под вами! А что внизу — то сильнее того, что наверху!

И прикоснулась трава к небу, и стала выше человека, потому что боль человеческая бросала ее в счастье, и была в ней частица души тела человеческого.

И прикоснулся камень к небу, и стал сильнее человека, потому что обида человеческая бросала его в мечту, и была в нем частица души тела человека.

И стала трава деревом, а камень горой. И стали люди бояться могущества и высоты. Стали они искать основания гор и деревьев, чтобы повалить их, и опустили глаза людей вниз, но не увидели они основания деревьев и гор, потому что на земле ничто не начинается на поверхности. И стали они опус-

каться головы в раздумье. Головы опускались медленно-медленно, как руки, уставшие держать кувшин с водой. Вот так оторвалось небо от земли. А все потому, что мечты были нитками, а нитки держались на ресницах глаз человеческих, и порвались они потому, что перестал мечтать человек, а стал лишь только искать и думать. И стали жить все на земле, стали думать все о земле, стали все ниже ростом, потому что только мечты и счастье делают человека высоким и легким. Вот так умерли человеко-бабочки и появились люди...

Да... А звезды — это незажившие раны от грез человеческих, потому так грустно смотреть на них... Всегда бойся того, кто думает с опущенной головой, потому что нет в нем мечты, а мысль без мечты делает человека все ниже и ниже... и сильнее и сильнее, а сильнее пыли нет ничего во вселенной... Вот потому я и снимаю ее с ваших ног.

С этими словами он допивает воду из своей бутылки, закрывает заклеенный фотографиями борцов ящик с кремом для обуви и щеточками, берет с меня рубль, мурлыча избитую песенку и явно фальшивя мелодию, вешает маленький замочек на свою будку, прощается со мной, и не успеваю я досчитать до пяти — как исчезает в толпе его горбик и лысая голова с клоком желтых и седых волос на затылке.

Я опускаю голову и смотрю на свои ботинки, медленно бредущие среди множества других ботинок, и мне становится смешно.

Может, ты уже стал голубоглазым человеко-бабочкой. Может, не ты один, но и другие незаметно превращаются в бабочек, ведь не может быть, чтобы все они исчезли, ведь они все-таки были человеками, ведь их иногда так отчетливо слышно...

Я представляю себе, как они, голубоглазые, голые, с поднятыми вверх подбородками, мурлыча свою мелодию, шлепают босыми ногами по асфальту... Вот тут-то невозможно удержаться, и начинаешь хохотать, как умалишенный, задрав голову и прикрывая рот рукой. Прохожие обходят тебя, как река обходит одинокое дерево на острове. А ты счастлив и не обижаешься на них, ведь счастье всегда вызывает иронию в глазах у тех, кто им не владеет.

Но чаще всего, опустошенный и уставший, бредешь по этим проклятым улицам, и мозг твой, как стекло об кожу, скребет мысль.

— Ведь их иногда так отчетливо слышно. Ведь их иногда так отчетливо слышно...

А иногда поздно ночью, перед самым сном, слышишь ты тихое мелодичное мурлыканье и мягкий-мягкий стук в окно. Тебе бы всего лишь привстать и спросить: «Кто там?», но тебе лень вставать, потому что ты хочешь спать, и, поворачиваясь на другой бок, ты уверяешь себя:

— Черт! Наверное, ветер!..

А ИНОГДА...





\* \* \*

Капли дождя поднимаются стаей.  
В небо взлетая, в тумане парю.  
Как о цветах, о тебе я мечтаю,  
Выдавших Миндии\* тайну свою.  
В небе плыву с облаками в обнимку.  
Благослови, о Господь, мой побег!  
Рею стихом, превратившимся в дымку,  
Больше не верю, что я человек.  
Капли дождя поднимаются стаей.  
В небе есть доля моей высоты.  
Прядями облака весь обрастаю,  
Словно крылами огромной мечты.

## Берег

Растаяли и начали обвал  
Зимы остатки в исступленьи диком.  
Прорвали у Арагви груды скал.  
Их горы Пшави ободряли криком.

Мост опустился  
В дебри глубины.  
По-женски небо плачет виновато,  
И сердце,  
Погружаясь в муть волны,  
Должно на берег выбраться когда-то.

\* \* \*

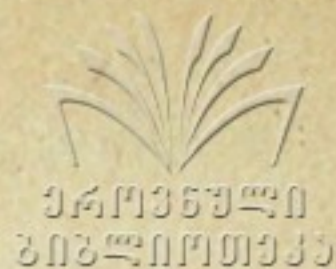
Душа отца была прочнее стали,  
А воля — нестигаемей клинка.  
Когда они Арагвой бушевали,  
Мой дух клубился паром родника.

Отец ушел, неистовый и строгий,  
Унес мое неистовство с собой —

---

\* Миндия — персонаж поэмы Важа Пшавела.

Вот почему мне связывали ноги,  
Пугали  
Беспощадною судьбой...



Но озорная дерзость мне по вкусу.  
Бывает, хлопнет дьявол по плечу —  
Тогда беда завистнику и трусу,  
Я их не хуже черта проучу.

## Башни

Валериану Саглиани, поэту и другу

Словно гигантские свечи  
Стоят,  
Тянутся ввысь в боевом напряженье.  
Как я сегодня безудержно рад,  
Что оказался у них в окруженье!

Сванская башня — наследье отцов,  
Вера и совесть, призыв и молитва.  
Шепчутся камни могучих зубцов,  
Припоминая застолья и битвы.

Призраки дремлют, как древняя рать.  
Пули уснули в притихшей бойнице.  
Башня неистово жаждет узнать,  
**Кто я**  
И с чем я задумал явиться.

Может, с коварною местью пришел,  
Может, я вождь вероломного царства,  
Грозен, хитер, кровожаден и зол.  
Нет, — говорю, —  
Я явился для братства.

С верной любовью — из Рошки и Бло\*,  
С нежным приветом — от склонов Цинхаду\*\*  
Башня склонилась ко мне, и тепло  
Льется из глаз добродушной громады.

---

\* Рошки, Бло, Цинхаду — села в Грузии в Душетском районе.

Вскинула руки, коснувшись звезды,  
Силясь прижать меня к сердцу открыто,  
Вся изогнулась,  
Но слишком тверды  
Эти замшелые глыбы и плиты.

Чувствую  
Странный прилив теплоты.  
Здесь даже дерево  
Гостеприимно,  
Горы здесь новой, иной высоты,  
И красоты несказанной — долины.

Чувствую:  
Это мой собственный дом.  
Замок фамильный с усадьбой родною  
Помнят всегда о владельце своем,  
В солнце оделись для встречи со мною.

В этих краях ты теперь господин.  
В Махви\* тебе и почет, и доверье.  
Слово скажи и наполни кувшин.  
Башни тебе отворят свои двери.

Высеки стих, вдохновеньем объят,  
Башни поют при твоём приближенье...  
Как я сегодня безудержно рад,  
Что оказался у них в окруженье!

Перевод Ларисы ФОМЕНКО

---

\* Махви — село.



# НАМЛУЛУ, или Развороты старого пройдохи Жора Гвасалиа

— Да успеешь ты слопать свою порцию, если не хватит, закажу еще сто, — усмехнулся я.

Наконец-то Жора прожевал толму, проглотил и уставился на меня.

— В тот день я раздал по городу подарков на тридцать тысяч! Прокурору, работникам горкома — разным там партийным вонючкам! И весь Сухуми знал об этих подарках! Я даже Берия послал телеграмму — поздравил с днем рождения и поблагодарил за счастливую жизнь от имени спортсменов Абхазии (выходит, от тебя тоже). И весь Сухуми знал об этом!.. — произнес он со значительным видом, подняв вверх указательный палец.

Наконец-то я начал кое-что соображать. Насколько мне было известно, последующие несколько лет, вплоть до «политической акции» у монумента вождя революции, Жора Гвасалиа был связан с группой скульпторов — выискивал им богатых заказчиков и получал свои комиссионные. И хотя скульптуры эти — чудовищные Орджоникидзе, Калинины, Молотовы и Ворошиловы — воздвигались на территории крупных совхозов, колхозов и чайных фабрик, деятельность посредника не была предусмотрена законом. Но кто посмел бы стать на пути человека с такими связями в верхах.

— Именно, кто посмел бы! — подтвердил Жора мои мысли и нахально уставился мне в глаза.

---

Окончание. Начало см. в № 6.

— Тебе бы в цирке угадывать мысли, — усмехнулся я. — Но все же мне не все ясно. Ведь речь идет об опровержении. Кто-то же это сделал, кто-то написал.

Жора поморщил нос.

— Так ведь это сущий пустяк. Опровержение написал я сам. А тиснул его в газету совсем маленький человек. Он дежурил тогда последний раз, маленький, обиженный человек. И всего за две тысячи. По сегодняшнему курсу, считай, за два червонца.

Эти маленькие и обиженные другой раз могут сотворить такое, что министрам и не приснится. Сейчас к нашему столу присоединятся пятеро таких маленьких и обиженных. Пусть тебя не пугают их одежда и хари, как «потертые пятаки». Они достали мне такое...

Далее я его уже не слышал. В мой мозг запала теория «маленьких и обиженных», так четко выстроенная и задействованная моим визави. Для меня это было полнейшей неожиданностью.

— Bravo, Жора Гвасалиа! — произнес я в задумчивости.

— А почему так грустно? — поинтересовался Жора.

— Bravo, Жора Гвасалиа! — повторил я уже громко.

— Нет, не то, — и на этот раз не одобрил Гвасалиа.

И тогда я встал, направился с бокалом в руке к оркестру, сунул маэстро четвертак, взял из его рук микрофон и провозгласил на весь ресторан:

— Bravo, Жора Гвасалиа!

Заявление было сделано как нельзя вовремя. Именно в это мгновение в зал ресторана заходили «товарищи», которых он пригласил — «для дела»: пятеро субъектов с лицами, как «потертые пятаки». Но я уже знал, что именно подобного рода середнячки, согласно теории Гвасалиа, порою бывают полезнее министров и неприступных чиновников из аппарата. Робкие, как видно, не очень привыкшие к ресторанным залам, они молча расселись за нашим столом, а я потеснился в угол. Один из новоприбывших тут же

протянул Жоре какие-то бумаги. Жора под столом сунул ему толщенную пачку купюр и шепнул: — Десять кусков. Потом посчитаешь.

Я разлил водку в стаканчики. Мне и в голову не могло прийти, что через каких-нибудь два-три часа эти облезлые персонажи с нездоровым цветом лица раскромсают в порошок вставную челюсть моего приятеля и воткнут мне в икру ноги лагерную финку. Но об этом как-нибудь в следующий раз.

## ПЯТЫЙ РАЗВОРОТ

Понимаю, разболтался. Больных людей хлебом не корми, а дай поболтать. И они вас доконают словесным поносом. Их излюбленная тема — собственная болезнь во всех мельчайших нюансах. Но с такой же охотой они могут углубиться в воспоминания детства и юности, рассказывать о тех, кого больше нет с нами, вести ученые разговоры, высказывая свои предположения относительно таинственных явлений природы. Это пристрастие к болтовне людей, которых болезнь свалила в постель, скорее всего, можно объяснить неосознанным страхом, что они не успеют высказаться до конца. А ведь каждому хочется высказаться, пусть даже высказывания эти влетают в одно ухо слушателя, вылетают из второго и уходят в космос, растворяются во вселенной. А может, они где-то все же фиксируются и витают в бесконечности. Счастливые в этом отношении писатели. Их мысли фиксируются на бумаге: их подделка под наивных честных малых и их озлобленность, их всепоглощающий эгоцентризм, их неумолимое стремление всплыть на поверхность и стать центром внимания. И благословенны те редкие случаи, когда мертвая бумага становится фиксатором бессмертных идей, великого, осеняющего нас в редчайшие минуты вдохновения, когда нам в высшей степени наплевать на все то, из-за чего смертные «так много хлопчут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют». Мои мысли вновь обратились к Сократу, рядом с которым все еще громоздилась туго набитая сумка. И опять меня понесло. Опять болезнь распустила словоблудие, в то время как читатель ждет действия, причем,

стремительного и захватывающего, только вся беда в том, что стремительное и захватывающее чуточку впереди. А пока... Внезапный грохот подкинул меня на постели. Встрепенулся мой песик. Вначале я было подумал, что город осадили осетины и ракета типа «Град» пробила стену моей квартиры. И только очухавшись и удостоверившись в целостности стен, я увидел посреди комнаты сумку моего гостя. Скособочившись, она рухнула со шкафа на пол, но почему с таким грохотом? Он что — двухпудовки в нее наложил? Я тут же подумал о гречанке, живущей этажом ниже. Сейчас она ворвется с диким воплем и начнет в истерике кататься по грязному полу:

— Лустра! Лустра! Бух! (Как можно! Работай, как форменный ешак, и вдруг! Бух! Иди посмотри, что ты натворил!

И несмотря на то, что температура моего тела достигала на термометре отметки тридцать девять, она настояла бы на своем — подняла бы меня с постели и потащила вниз полюбоваться полным разгромом. Но, к счастью, гречанки дома не оказалось. «Ну и пусть валяется», — подумал я, зло косясь на опоясанную ремнями сумку. Вместо гречанки пожаловал мой брат со своим соседом, десятипудовым насупленным Геной. Брат принес мне хинкали и пиво. И невзначай сунул под подушку двухсотрублевку. Это с его стороны было немалым геройством. Художник с изысканным вкусом и внешностью уже закатывающейся, но еще не потускневшей голливудской звезды, он еле сводил концы с концами, и при случае я снабжал его карманными деньгами. Одно было непонятно — для чего ему понадобился Гена. Плотно устроившись в кресле, этот великан вначале вроде нехотя, а затем, войдя в раж, уничтожил половину принесенных мне хинкали и выдул около двух литров пива. Ну это, как говорится, на здоровье.

С видом знатока он оповестил меня, что по городу ходит странная болезнь — человек, не ощущая боли и прочих ненормальностей, постепенно теряет в весе и умирает. Между прочим, я знал одного скромного парня из телестудии, который недавно умер именно таким образом. Гена пытался мне внушить, что, скорее всего, я болен именно этой болезнью. Осо-

бенно противно было то, что все это он говорил по-грузински, стараясь подделаться под деревенский лаг кахетинца. Вот уже более пяти лет он упорно говорил только по-грузински, которым, мягко говоря, не владел в совершенстве. Он и женился на грузинке, сына назвал Лашей, дочку Нестан и оставил за потомством фамилию матери. И эти его приспособленческие потуги не вызывали симпатий. Предчувствуя «пробуждение» нации еще до его начала, осторожный Гена опасался оказаться «вне игры» и лез из кожи вон, лишь бы приобщить себя к когорте законных хозяев республики.

Да Бог с ним, с Геной и его жалкими потугами. Спасибо, что пришел проведать.

Девочки привели Ципо с прогулки. Как обычно, с разбега запрыгнул на кровать и облизал мне лицо. Он был рад и гостям, съел целую хинкали, убежал на кухню, и мы слышали, как он там лакает воду.

— Я вот о чем подумал, — произнес Гена. — Не завелся ли у тебя эхинококк?

— Ага, — добавил мой брат. — Эхинококки, гонококки, каверны, лейкоцитоз и полная анемия.

— Нет, Котик, я серьезно говорю, — надулся Гена. — Надо исключить такую вероятность.

Ципо вернулся из кухни, с опаской покосился на сумку и вдруг оцетинился и зарычал.

— Поставь эту гадость на шкаф, — попросил я брата.

— Что у тебя там? — спросил брат, приподнимая сумку.

— Сумка Жоры Гвасалиа. Он остановился у меня.

— Он еще жив? — удивился брат. — Гони его в шею.

— Это я и собираюсь сделать.

Мир не без добрых людей. Вслед за братом и Геной ко мне пожаловал сосед с четырнадцатого этажа — пожилой еврей в шляпе и на костылях. Он принес мне два больших красных яблока. Всю жизнь этот человек прожил в Тбилиси и не знал по-грузински ни единого слова. Жизнь и его подхлестнула.

— Вы знаете, Леван, я научился считать по-грузински до двадцати.

— Колоссальный успех, — одобрил я.




Вот уже десять лет мой еврей собирается уехать в Штаты, где у него две сестры и брат вместе со своими семьями. И все эти годы он собирает документы, колеблется, ищет покупателя квартиры и различных ценностей. А я твердо знаю—не видать Соломону Александровичу Штатов, как своих ушей. Пока он раскачивается, и жизнь проскользнет мимо. Впрочем, она уже проскользнула.

И наконец я снова наедине с собой. В присутствии гостей я еще улыбался и напускал на себя беспечность. Оставшись один, я почувствовал высокий жар. Термометр показывал 40 и семь десятых. «Спасибо, родная страна!» — повторил я слова улизнувшего в Израиль игрока в кости, которые он каждый раз провозглашал со скамьи подсудимых в качестве последнего слова. И погрузился в сон.

## ШЕСТОЙ РАЗВОРОТ

Проснулся я среди ночи. Часы показывали полтретьего. Ледяные руки, ледяные ступни ног. Вместе со мной проснулся и Ципо и сейчас, соскочив с кровати, сладко потягивался. Спальню освещал торшер, отодвинутый в угол комнаты. За окном выл ветер. Временами его порывы налетали на застекленную раму. И тогда она начинала дребезжать и пошатываться. И вдруг я почувствовал, что в квартире я не один. Неужели Жора вернулся среди ночи? Но в таком случае почему не слышно его протяжного храпа? Я спустил ноги с кровати, сунул их в ботасы и встал на ноги. Ципо контролировал каждое мое движение. Растрепанный после сна, он тревожно смотрел на меня, как бы спрашивая — в чем дело? И я по привычке отвечал ему таким же удивленным взглядом. В соседней комнате никого не было. Тахта, на которой отдыхал Жора, была аккуратно застелена. По всей кухне расползлись тараканы. В ванной перед зеркалом Жора разложил на полке свои бритвенные принадлежности и флаконы со всякой дрянью. Ципо следовал за мной как тень, и когда я вернулся в постель, запрыгнул на нее, но, вопреки привычке, не свернулся в клубок, а, стоя, смотрел на меня тревожно и вопрошающе. В соседней комнате скрипнула половица,



и опять меня охватило смутное ощущение, что в квартире я нахожусь не один. «Может, этот негодяй торчал все это время на балконе, кого-то выслеживая?» — мелькнуло в голове. То, что в квартиру могли обратиться воры, меня не беспокоило. Воровать у меня было нечего.

— Жорж! — крикнул я.

В ответ задребезжала застекленная дверь. Ветер врывался в щели и раскачивал люстру. Однажды, когда я только перебрался на эту квартиру в Дигомский массив, порыв ветра выбил в спальне всю раму — считай, целую стену. Дня три рама была опрокинута на перила балкона. А на четвертый день я привел рабочего, который вставил раму обратно в проем стены и укрепил ее цементом. И все же каждый раз, стоит подняться ветру, я опасаюсь, что авария может повториться. Холодный ветер проникал в щели и дул мне в голову. «Только менингита не хватало», — подумал я и решил надеть берет. Для этого надо было снова встать, чтоб открыть шкаф. На полке, которую оккупировала проживающая у меня «кикимора», найти берет было не просто. Тут все было свалено в одну кучу — ее трусы, шарфы, кофточки и колготки, и мне пришлось основательно перепотрошить все это, прежде чем я нашел голубой дамский берет. И опять в соседней комнате скрипнула половица. На мой окрик ответа не последовало. Однако, по тому, как вела себя собачонка, я понимал, что в квартире что-то неладно. И тогда я схватил сумку Гвасалиа — тяжелой же она оказалась — и опустил на пол. Собачка тревожно залаяла. И отскочила. Запрыгнув на кровать, она оцетинилась и, не отводя глаз от сумки, залилась протяжным, похожим на вой лаем. Далась мне эта сумка! В конце концов, не белых же крыс из лаборатории Гамкрелидзе привез мой «ближайший родственник». И все же я распутал ремни, полоснул ножом бинт, и когда концы его бездыханно повисли с боков, открыл молнию. Сунув руку внутрь, уткнулся во что-то твердое, завернутое в тряпки и помещенное в целлофановый пакет. Я стал ощупывать твердый предмет. Сверху он был покрыт плотной щетиной, на ощупь напоминающей немытую слипшуюся мочалку. Конец целлофанового пакета был



туго обмотан резинкой. Я содрал ее, схватился за мочалку и извлек изнутри окоченевшую, иссиня-темную человеческую голову. И тут же, ошеломленный, выпустил ее из рук. Она с грохотом упала на пол и застыла на месте в вертикальном положении, как ванька-встанька. Громадная темная голова, приоткрытые веки, бельма вместо глаз и слегка оттопыренные губы. Зрелище было ужасным. Щеки головы обросли белой щетиной, а то, что я принял за мочалку, было волосами—местами рыжими, местами седыми и взъерошенными, как пламя.

— За мной! — дал я команду, вместе с собачкой выскочил из спальни и плотно прикрыл дверь. Первое, что я сделал, кинулся в ванную отмывать руки. И намыливал их раз, наверное, пять подряд. Меня захлестывало возмущение.

— Нет, каков подлец! — твердил я неустанно. — Подонок! Скот! Мерзавец!

Из ванной я вышел в переднюю, открыл дверь—на лестничной площадке была сплошная темень. Я выдернул ключ из замочной скважины, запер дверь изнутри, а затем еще и на цепочку. И вернулся в гостиную. По дороге в прихожей я увидел свое изображение в зеркале — исхудалый, в одних трусах, в синем берете, нахлобученном по самые тревожные, широко открытые глаза — и испугался своего вида не меньше темно-синей головы, стоящей в вертикальном положении в центре моей спальни. «А может, все это только бред?» — мелькнуло в моем возбужденном мозгу, но открыть двери в спальню все равно не решился. Продолжая извергать проклятия, я носился туда и обратно по гостиной. Сейчас в двери раздастся резкий требовательный звонок, думал я... И уже рисовал в своем воображении сцену, которая обогатит мою биографию.

— Кто там?

— Милиция!

— Что надо?

— У нас имеется ордер на обыск.

А еще через несколько минут сотрудники в синей форме оккупируют квартиру, заняв все проходы и выходы. И по мере того, как идет обыск, некто в

штатском, держа за волосы огромную черную голову, приступает к первому допросу.

— Чья это голова?

— Понятия не имею.

— Подумай. Подумай и так ответь. Ведь что ты говоришь — нелогично. В твоей квартире обнаруживают отрезанную голову, и ты не знаешь, кому она принадлежит? — спокойно вдабливает мне в голову следователь. — Подумай и так отвечай — чья это голова?

— Может быть, боксера Формена, — высказываю я предположение.

А что мне еще ответить? Что голову принес Жора Гвасалиа?

— Внимательно посмотри на эту голову и ответь — чья она?

— Мне неохота на нее смотреть. Приехал один знакомый, оставил сумку и исчез. А в сумке — эта голова.

— В милиции ты иначе запоешь, — угрожающе говорит следователь и передает голову сержанту.

— Ничего такого, кроме этого, не нашли, — обращается к следователю один из тех, кто производил обыск, и протягивает мой кнопочный нож.

— Вы нашли то, что надо. Наручники на него и в машину.

— Но у меня температура. Больше сорока. Проверьте, если не верите. В отделении я просто умру, и вы тогда никогда не узнаете, чья это голова.

— Напугал — он умрет! Не такие, как ты, умирали. Ленин умер, Сталин умер, но мир от этого, как видишь, не перевернулся.

— Мир перевернулся от того, что они родились, — подаю я голос уже в наручниках, и все мы дружной компанией направляемся к двери.

Вот такая вполне реальная сцена возникла в моем воображении, пока я ходил из угла в угол, а собачка ходила следом.

«Как я сейчас засну? — спрашивал я себя. — Где? Что буду делать завтра, когда придут меня проведать?» — и снова, кроме проклятий в адрес Жоры Гвасалиа, уже ничего не лезло в мою воспаленную голову.



И вдруг раздался пронзительный звонок в дверь. Все шло по прокрученному в моей голове сценарию.

— Кто там? — закричал я резко, чтоб с самого же начала показать, что не боюсь никаких допросов.

— Не стал бы тебя будить, но тут такая темень! Не могу найти ключ в скважине.

— Кто ты?

— Жора я, Жора, кто же еще! — ответил бодрый голос.

— Ты один?

— Врач будет завтра. Испугался выходить — комендантский час. Да откроешь ты наконец?

«Ну, я с тобой разделаюсь» — решил я и открыл дверь.

— Как у тебя с температурой? А я замотался, к чертям собачьим.

Мы прошли в гостиную. По моему грозному виду и резкому голосу он сразу понял, что разговор предстоит не из приятных, и поэтому с самого начала пытался придать ему дружеский характер.

— Что там у тебя в сумке? — спросил я твердо.

— Ну и вид у тебя, — расхохотался Жора. — Где ты откопал этот берет?

— Не виляй. Что у тебя там в сумке?

— В какой сумке?

— В которой ты носил крыс в лабораторию Гам-крелидзе.

— Понятия не имею. Сумку упаковали другие. А что?

— Войди в спальню и посмотри.

Ни минуты не мешкая, Жора прошел в спальню и тут же выскочил обратно. Он казался рассерженным.

— Кто просил тебя лезть в сумку?

— Кто просил, ты узнаешь потом. А сейчас возьми эту гадость и пошел вон! — отчеканил я угрожающе.

— Не понимаю.

Я повысил голос:

— Забирай свою поганую сумку и убирайся!

— Как мне убраться — комендантский час! На каждом углу патруль.

— Как приперся, так и уберешься.

— «Приперся!»! — обиделся Жора. — С кем ты так разговариваешь? К твоему сведению, меня и подвез патруль. Но то были знакомые ребята. Ты куда меня гонишь среди ночи? — он постепенно расходился, и тон его стал обретать уверенность. — Подумаешь, голову он увидел! Ты что, никогда не видел мертвых голов?

По правде сказать, я не имел удовольствия лицезреть отрубленные человеческие головы. Разве что только в кино.

— А настанет утро, ноги моей тут больше не будет! — заявил он категорично. — А я, понимаешь, ношусь весь день по аптекам и поликлиникам, — он швырнул на стол пачку нераспечатанных таблеток и стукнул о телевизор пузырьком с белой жидкостью. — Дефицит! Но без врача не смей принимать. Завтра в одиннадцать придет профессор Басилая!

— Но чтобы в шесть духа твоего тут не было вместе с сумкой! — произнес я резко, однако по тону Жора усек, что гнев мой идет на убыль.

— Вот и договорились, — поставил он точку на нашей беседе. — Пойду вскипячу чай. Росинки маковой с утра не было во рту.

Я набросил на спину халат и уселся за стол. Жора пошел на кухню ставить чайник. И через минуту из кухни я услышал его бодрый голосок:

— Как тебя до сих пор не съели тараканы? Тебе наливать?

Мы молча пили чай в гостиной. Жора нарезал на мелкие дольки лимон.

— Надеюсь, этот лимон лежал не в сумке? — спросил я.

— Неуместная реплика, — бросил Гвасалиа и миролюбиво, словно бы ничего не произошло, спросил: — Кстати, не узнал?

— Кого?

— Голову. Это же Бачи Бжалава. Ах, бедный мой Бачи, думал ли я...

— Какой еще Бачи?

— Дырявая память! С кем я у тебя останавливался, когда ты доставал нам катрекс?

— Не может быть! — опешил я.

Лет восемь тому назад Жора, так же неожиданно



ворвавшись в мою жизнь, привел с собой приятеля — Бачи Бжалава, уже далеко не молодого, скромного милостивого человека с доброжелательным лицом и застенчивой улыбкой. «Какой приятный человек», — думал я, глядя, как он убирает со стола посуду, чтоб отнести ее на кухню. Там он кипятком стал ее мыть. Помню, я пытался освободить его от этой нагрузки.

— Бачи, не надо, я сам. Ты же мой гость.

— А я люблю мыть посуду, — скромно ответил Бачи.

В тот приезд они погостили у меня два дня, и деликатный Бачи делал все от него зависящее, чтоб не обременить меня своим присутствием. Во время их пребывания ко мне заглянул один из игроков в нарды — небезызвестный каретник Мурман Чичуа, — и мы схлестнулись по крупному (по крупному в моих масштабах). Преодолевая страшное невезение, я все же сорвал куш. Бачи молча и миролюбиво наблюдал за игрой. А когда мой партнер ушел, сказал:

— Не хотел вмешиваться, но знай наперед, этот твой Чичуа меняет кости по ходу игры.

— Не может быть, — не поверил я.

— Может, — миролюбиво возразил Бачи. — Разве мыслимо катануть пять душешей<sup>1</sup> подряд. Знай наперед.


Вот такой приятный, скромный мегрел. Сейчас его отрезанная голова валялась на полу в соседней комнате. Она распухла, почернела, под действием бальзама раздалась до невероятных размеров и мало чем напоминала голову человека, с которым я был знаком. Разве что только губы. Они у Бачи были пухлыми и слегка вывернутыми, как у негра.

## АЛИК РАСКРЫЛ ТАЙНУ, НО ВЕСЬ МИР НЕ ХОЧЕТ ВЕРИТЬ

Лет восемь назад ко мне на квартиру на шестнадцатый этаж заявился Жора Гвасалиа и привел с собой Бачи. Приехали они ко мне по важному делу — я должен был снабдить их детищем Алексан-

---

<sup>1</sup> Душеш — оптимальное положение игровых костей, означающее две шестерки.



дра Гачечиладзе — катрексом — препаратом, вылечивающим рак. Откуда Жора узнал, что Алик — мой друг, и где он раздобыл мой адрес, так и осталось для меня тайной. Алик действительно был моим другом. Более того, другом с детства, одним из любимых мной людей. Мне и раньше приходилось тревожить Алика по поводу катрекса (препарат изготовлялся из печени катрана), но то были иные времена. А сейчас настала пора, когда по всей огромной стране в шею погнало ретроградов, давая дорогу экстрасенсам и всевозможным Кашпировским. В погоне за сенсацией многие журналисты сфокусировали внимание на изобретении, которое Алик уже 25 лет безуспешно проталкивал в жизнь через непробиваемую стену онкологов, министерств здравоохранения и прочих бюрократических структур. Но вот, выражаясь словами Гвасалиа, «праздник забушевал» и на его улице. В стране стоял бум. Люди съезжались в Тбилиси со всех концов страны, вплоть до Камчатки и Сахалина. Чего не сделаешь для близкого человека, если остается хоть один шанс.

Как мне сказал Жора, лекарство необходимо было брату Бачи — шикарному сухумскому парню Гвади — директору коммерческого магазина, у которого обнаружили злокачественную опухоль в легких.

— В долгу мы, сам понимаешь, не останемся, — заверил меня Жора.

— Какой там еще долг, — возразил я. — Мне лишь бы проникнуть в лабораторию.

— Кстати, если препарат результативен, Нобелевская премия ему обеспечена, — авторитетно заметил Гвасалиа, как всегда осведомленный обо всем том, что происходит в мире.

Алику долгое время не везло. Больные раком после впрыскивания катрекса неминуемо приходили к роковому финалу, и только отдельные, крайне редкие случаи вселяли надежду. И Алик, фанатик по натуре, хватался за эти редкие проблески как утопающий за соломинку. В большинстве же случаев результат был один: после впрыскивания первых ампул больной чувствовал облегчение на два-три дня. А в дальнейшем все возвращалось на круги своя. Так было и с моим отцом, тетушкой, невесткой и многочис-



ленными близкими моих друзей. И спасибо Алику, Спасибо за те два дня, когда отец, почувствовав прилив живительных сил, обрел надежду. И даже вышел на общий балкон покурить. Два дня. Два дня, как целая вечность!

Двор, примыкающий к лаборатории, был запружен людьми: женщинами, стариками, старухами, военными, штатскими — кем угодно. Мы встретили тут человека, на щеке которого выросла вторая щека, и на ней дико поблескивал глаз. Старуху с нижней губой, отвисшей до живота, ребенка на руках матери с синей шишкой величиной с кулак на виске. Вся эта многочисленная толпа жила и ночевала тут же — во дворе, примыкающем непосредственно к лаборатории. Тут она спала, ела, разжигала по ночам костры. Количество ампул, выдаваемых за день, зависело от количества катранов, пойманных накануне в Поти, и, разумеется, хватало лишь на сотую долю страждущих. Люди занимали очереди за месяц. Составлялись длиннющие списки. И вклиниваться в эту суровую очередь было делом более чем рискованным. Площадка, примыкающая к лаборатории, была обнесена железной сеткой высотой метров в шесть. На площадке околачивались два милиционера. А узкий проход у калитки был туго — один к одному — забит бурлящей очередью. Энтузиаст в ушанке (Бог знает, откуда он приехал, потому что на улице стояла жара) громко выкрикивал по списку фамилии. Жора попытался протиснуть меня в проход. Ничего у нас не получилось. Более того, энтузиаст в ушанке содрал с Жоры шляпу и, придав ей вращательное движение, швырнул в воздух. Я получил зонтиком по шее. Но и тут Жора не пал духом. Он вынул из кармана записную книжку, выдернул листок и написал на нем крупными буквами: «Алик, умоляю! Леван Челидзе». Подозвав милиционера, он сунул ему записку через дырку в сетке.

— Ничего не получится, — предупредил милиционер.

Жора наорал на него тоном начальника милиции:

— Не твоего ума дело! Передай записку в лабораторию.

Милиционер ушел. Появившись через минуту, он вяло махнул нам рукой:

— Пусть проходит.

Легко сказать! Как?! На раздумье ушло секунд десять.

— Снимай туфли, — решительно распорядился Жора. Нет, в эту минуту это был уже не Гвасалиа. Это был Наполеон Бонапарт на «батарею отважных» во время осады Тулона.

Еще не совсем понимая, какой у него возник план, я скинул обувь. Жора тотчас же просунул ее через отверстие в сетке на заветную территорию. И дал новый приказ:

— Становись мне на плечи.

— А дальше что? — растерялся я.

— Выиграть бой у Геловани было тоже не просто, — прикрикнул Жора.

Реплика эта вмиг развеяла позорную унылость души, сообщенную мне ударом грязного зонтика.

Цепляясь за проволочную сетку, с помощью Бжалава я влез Жоре на плечи.

— Два метра, и ты у цели. Главное, перекинуть ногу, — подбадривал меня Гвасалиа.

Я, как воздушный акробат, пополз по сетке вверх, стараясь сохранить равновесие, чтоб вместе с сеткой не рухнуть на землю. Вскоре я дополз до конца, но уже не хватало сил, чтоб отжаться и перебросить ногу по ту сторону ограды. К тому же, затекли пальцы.

— Один рывок, и ты уже там! — кричал снизу Жора.

Я сделал рывок и услышал, как по швам поползли мои брюки. И в это время раздался истерический женский визг:

— Через сетку лезут! Да разве мы не люди?!

Толпа забурлила. Я висел на сетке метрах в шести от земли, когда в меня градом полетели камни. Где они только их находили! — двор был сплошь земляным.

— Рывок, и ты уже там! — бесился снизу Гвасалиа.

Если бы не обстрел, я, скорее всего, сполз бы обратно. Но тут, уклоняясь от камней, я рванулся

вверх и каким-то чудом перенес ногу на ту сторону сетки. И тут же перекинул вторую. Цепляясь рубашкой и грудью за торчащие концы проволоки, я сполз на территорию лаборатории и, как был, в одних носках, ринулся под укрытие в помещение. Тут тоже толпился народ — Бог весть откуда понаехавшие за волшебными ампулами люди, сотрудники лаборатории в белых халатах, прислужники, подхалимы, проходимцы всех мастей, кто под видом энтузиастов, учуяв золотую жилу, пытался под шумок награбастать наличные. И многим это в итоге удавалось... Сам Алик с пациентов брал лишь сумму на изготовление ампул, зато те, кто его окружали, всеми правдами и неправдами драли с несчастных сколько могли. Не стану описывать, как я, растерзанный, с распоротыми брюками и в одних носках предстал перед Аликом, что, кстати, его несколько не удивило.

— Сбрей эти фраерские усы! — бросил он грубовато, но тут же в его голубых, слипающихся от бессонницы глазах фанатика зажегся огонек нежности, и он поцеловал меня в окровавленную щеку. Оказавшись центром сенсации и на гребне славы, он спал в эти дни по два-три часа в сутки, а порою и вовсе не смыкал глаз.


С целлофановым пакетом, в котором вместе с ломтиками льда позвякивали двадцать ампул, я выскочил из лаборатории и кинулся к проволочной ограде, за которой стояли мои приятели. И, протянув пакет через дыру, сказал:

— Срочно все это в термос.

— А ты, дурочка, боялась, — улыбнулся Жора.

Я быстро обулся и кинулся к железной двери на улицу, возле которой дежурил (читай, «подрабатывал») второй милиционер. Описав круг через улицы, я вернулся во двор. Ни Жоры, ни Бжалава уже не было. Получили свое, и в кусты. Со стороны Жоры это выглядело по-свински. Бжалава был для меня посторонним. Я, с трудом поймав машину (тогда это было еще реальным), с горьким чувством поехал домой залечивать раны.

Однако через две недели Бжалава вновь вырос на пороге моей квартиры. Дотащить до моих дверей две громадные корзины со всевозможными цитрусами и



две огромные бутылки изабеллы<sup>1</sup> ему помог один из моих соседей. Он даже не прошел в квартиру, внизу его ждала машина.

— Для тебя и для Алика. Все натуральное, из собственного сада, — пояснил он со скромной улыбкой.

— А где Жора?

Бжалава грустно улыбнулся:

— Он тоже получил свое.

Естественно, получил бы. И, конечно же, не цитрусами и изабеллой.

— А как брат? — поинтересовался я.

— Воскрес! Воскрес из мертвых! — оживился Бачи. — Ходит, пьет, ругается!

— Это для Алика большой подарок, чем твои цитрусы, — сказал я.

На следующий день мы повезли к Алику бутылку и корзину. На этот раз прямо на дом, где и получили второй комплект ампул.

— Скажи брату, пусть регулярно сообщает мне о состоянии здоровья, — попросил Алик.

— Это я сам буду делать, — пообещал Бжалава.

Не знаю, делал ли он это. У головы не спросишь.

— Кстати, как его брат? Жив еще? — обратился я к Жоре.

— А кто, ты думаешь, упаковывал эту сумку?

— Интересно, сообщил ли он Алику о своем выздоровлении?

Жора многозначительно взглянул на меня.

— Он утверждает, что вообще не был ничем болен. Все, говорит, доктора придумали.

Конечно же, я совершал большую ошибку, когда лез по проволочной сетке вверх, как воздушный акробат. Неблагодарность, как и зависть, если верить Гвасалиа, удел рабских душ.

— И все же, кому пришло в голову отсекать голову Бачи Бжалава? — вернулся я к прерванному разговору.

Жора тяжело вздохнул. Он не любил раскрывать

---

<sup>1</sup> Изабелла или одеса — сорт легкого сухого вина из черного винограда.

карты. Но на этот раз увильнуть от разговора не посмел.

— Бедный Бачи! Он умер своей смертью. Кровоизлияние в мозг. Обратил внимание, как почернела голова? Его похоронили. Все чинно, благородно. Но потом у родственников возникло подозрение, что Бачи убила жена ударом тяжелого предмета по затылку. Бачи было шестьдесят семь лет, а Луизе едва за сорок. Статная, красивая дама...

— Ну и что же?..

— Луиза безумно ревновала Бачи. Однажды, во время объяснения (Бачи не ночевал дома) размозжила ему затылок канделябром. Может, обратил внимание, на затылке черный шрам?

Делать мне было нечего — разглядывать отсеченную голову.

— Тогда Бачи неделю провалялся в больнице с сотрясением. Ну, у родственников и возникло подозрение, что Луиза и на этот раз треснула его чем-то тяжелым. Ведь сейчас дом Бачи вместе с чудесным цитрусовым садом перешел по наследству к Луизе. Состояние в девять миллионов рублей.

Никогда бы не подумал, что скромный, застенчивый Бжалава был обладателем такого состояния.

— А кто сейчас отдаст девять миллионов за красивые глазки? Родственники, и среди них и первая жена (ох, и сука!) с тремя детьми возбуждали дело об убийстве. Ну, и как в таких случаях делается, труп эксгумировали и меня, ты же знаешь, у меня большие связи, попросили отвезти голову на экспертизу. А в экспертизе полная неразбериха. Кого я знал, в разъездах, а кто на месте, категорически отказываются принимать голову без санкции прокурора. Говорил я Гвади — «не занимайся самодеятельностью», но он упрямый как осел. И как же не будешь упрямым — речь идет о девяти миллионах!

— А сам ты как считаешь? Не могла ли Луиза укокошить своего Бачи?

— Начисто исключая эту нелепую версию, — категорическим тоном отрезал Гвасалиа. — Она обожала Бачи. Божественная женщина, я тебя с ней познакомлю, сам убедишься. Вот на ком бы тебе жениться. Будешь кататься как сыр в масле.

— Не понимаю, для чего же тогда брать на себя миссию везти отрубленную голову в Тбилиси и тыкать с ней в судебные органы?

— И никогда не поймешь, — резко отрезал Жора. Впрочем, я кое-что уже понимал. Жора взвалил на себя этот неблагодарный труд не за «пламенное спасибо». Выяснить, сколько он сам будет иметь в этой комбинации, я не стал — не мое дело. Но, видимо, многое тут зависело от исхода экспертизы.

— А что, если экспертиза примет тот старый удар за роковой, за которым последовала смерть, и твою Луизу возьмут за рога?

— Полностью исключается! — авторитетно парировал Гвасалиа. — Экспертиза определит время нанесения увечья с точностью до одной минуты. Налить тебе еще?

— Наливать не надо. Но сегодня ты будешь спать в той комнате, с головой Бачи.

— Я об этом уже подумал, — просто ответил Жора. — Сейчас я принесу твою постель.

— Bravo, Жора Гвасалиа.

— А почему так грустно?

Однако на этот раз я отказался повторять этот свой призыв, вкладывая в него оптимизм. Пусть скажет спасибо, что я не погнал его в эту ветреную ночь и комендантский час на улицу.

## СЕДЬМОЙ РАЗВОРОТ

Заснул я только к утру. А когда раскрыл глаза, то минувшая ночь показалась мне кошмарным сном. Вместе со мной проснулась и собачка, и сейчас, потягиваясь у моих ног, скосила в мою сторону умные настороженные глазки. На кухне кто-то брякал посудой.

— Жорж, это ты?

Он появился свежий как огурчик — уже побритый, в своем халате, тапочках, с сеткой на голове, с подносом в руках. На подносе дымился стакан чая. Рядом на блюде были аккуратно разложены ломтики лимона. Розетка до краев была наполнена густым молоком. Чем не завтрак аристократа? Он поставил поднос на стул и пододвинул его ко мне.

— Знаешь, кто в итоге доконает нашу великую державу? — поинтересовался он весело и сам же ответил: — Тараканы! Во всей стране нет хлорофоса.

«Тараканы или голодуха — какая в конце концов разница?» — отметил я про себя. Выпив наспех стакан чая, Жора прошел в спальню — одеваться. И оттуда я услышал его бодрый голосок:

— Тут под матрасом я нашел двухсотрублевку. А из кармана джинсов у тебя выпали триста двадцать пять рублей. Ты не возражаешь, если я отстегну от тебя сотнягу?

— Бери все, — ответил я. — Только унеси эту голову.

— Тогда я возьму двести.

Через минуту он, уже облаченный в свой макинтош и со шляпой на голове, вновь появился в дверях комнаты. В руках он держал сумку.

— Не забыл? В одиннадцать придет профессор Басилая. К сожалению, не могу дождаться его прихода — времени в обрез.

— Оно там? — спросил я осторожно, взглянув на сумку.

Жора расхохотался.

— Почему «оно»? У тебя такой вид, будто в сумке лежит водородная бомба. А тут всего-навсего голова нашего доброго Бачи. Даже принц Гамлет не брезговал держать в руках мертвые головы. Помнишь, как у него: «О бедный Йорик, здесь были губы, которые я целовал не знаю сколько раз!»

Он произнес эту фразу так патетично и искренне, что мне показалось, что передо мной стоит сам принц Гамлет. Разница, быть может, лишь в том, что перед принцем стоял вопрос: быть или не быть? — а перед ним вопрос этот решен круто и бесповоротно — быть! Быть, несмотря ни на какие житейские бури и социальные катаклизмы, вопреки прокуратуре, милиции, камере предварительного заключения, гнусному фельетону, опорочившему его честное имя, вопреки самодурству «партийных вонючек» и назло всему миру.

— А куда ты сейчас?

— Как куда? В экспертизу Верховного Суда!

— С Богом! — произнес я, подделываясь под его бравурный тон.

И он покинул мою квартиру, чтоб влиться в море новых житейских бурь.

Не прошло и десяти минут, как он ушел, а ко мне пришли дочь со своим мужем. Они приехали на собственной машине «09». И привезли с собой доктора— скромно одетого юношу с умными спокойными глазами. Он тщательно обследовал меня, но так и не нашел ничего такого, за что мог бы уцепиться. Проверили температуру. Ртутный столбик еле дополз до цифры 38. Решено было ехать в Железнодорожную больницу, при которой функционировал лечебный кооператив, оснащенный новейшей телеаппаратурой и компьютерами. Они и должны были выявить причину температуры и поставить точный диагноз.

Я оделся. И мы двинулись в путь. Лифт, как обычно, не работал, и я, крепко держась за перила, устремился по лестнице вниз. На улице моросил дождь. Небо было сплошь заложено тучами. Но это еще ничего, если бы не пронизывающий ледяной ветер. Мы уселись в машину, и она, выбравшись из лабиринта страхолюдных гигантских корпусов, покатила по проспекту Робакидзе. У троллейбусной остановки стояла многочисленная толпа. Она бы не уместилась и в пять троллейбусов, и непонятно, на что рассчитывали эти несчастные, когда ринулись за появившимся из-за угла троллейбусом, в котором пассажиры были утрамбованы как сельди в бочке.

Двери троллейбуса были открыты, и оттуда, высунувшись наполовину наружу, свисали люди, среди них пожилые. Толпа метнулась за троллейбусом, и в этой толпе я увидел Жору Гвасалиа со своей сумкой. Бежал он одним из последних.

— Останови на минуту, — попросил я зятя.

Сидя на переднем сиденьи рядом с водителем, я хорошо видел всю картину. В надежде, что кто-нибудь все же выйдет на остановке и освободит пространство для двух-трех страждущих сунуться в этот ад, люди пробивали себе локтями дорогу к дверям. Тут и в голову никому не пришло бы уступить дорогу женщине или ребенку. Но и сами женщины, в особенности старухи, мало с чем считались.



— В середине есть место! — (как же, целые апартаменты!), — кричал Жора, пробившись к самым дверям. — Потеснитесь! Тут же люди!

Он пытался ухватиться за дверную ручку и поставить хоть одну ногу на подножку. Поначалу этого было бы достаточно. Но это же пыталась сделать толстая корявая старуха с громадной, тяжелой корзиной. Между ней и Жорой и разыгралась решающая битва за те десять квадратных сантиметров ступеньки, на которые можно поставить ногу. Несколько раз Жоре удавалось вытеснить ее корявую ступню, но в последний момент, проявив подлинный героизм, старуха решительно выпихнула Жору с подножки и, когда троллейбус медленно двинулся, повисла в дверях.

— Деревенская сволочь! — крикнул ей вслед Гвасалиа.

— Могу поспорить с кем угодно и на что угодно, что мужчина в шляпе и макинтоше все равно уедет этим троллейбусом, — предложил я находящимся в машине.

— Вряд ли, — усомнился зять. — Не за что ухватиться.

Жора кинулся за уходящим троллейбусом. Сзади, держась за ступеньки рабочей лестницы, его облепили подростки. Выбрав из их числа самого щуплого, Жора с видом контролера или еще какого-нибудь блюстителя порядка, решительно схватил его за шиворот и отдернул от троллейбуса, обозвав при этом бандитом. И тут же, сам заняв его место, ухватился одной рукой за металлическую ступеньку. Другой рукой он крепко держал сумку с головой Бачи Бжалава.

Мы медленно поехали за троллейбусом. И я видел, как Жора, держа на весу сумку, о чем-то дружелюбно переговаривается с пацанвой. На следующей же остановке он соскочил, и тут уже в мире не нашлось бы сил, которые воспрепятствовали бы ему сунуться вместе с сумкой в забитый людьми троллейбус. Мало того! Из троллейбуса была выпихнута старуха с корзиной.

«Браво, Жора Гвасалиа!» — отметил я про себя. И мы свернули к больнице.

Лежа на накрытой простыней кушетке, я видел на экране компьютера картину не менее ужасную,

чем голова Бачи Бжалава. Женщина в белом халате водила вдоль моего живота и груди объектив хитрого устройства, а вторая сидела за столом и на компьютере фиксировала ее диагноз. А между тем на экране я видел свою собственную печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и легкие. Я видел свое сердце и сосуды, по которым кровь приводит его в движение.

— Печень увеличенная, — диктовала женщина с объективом.

Еще бы!

— Мочевой пузырь воспален.

Приятная новость.

— Легкие загрязненные.


Само собой — в день выкуривал по три-четыре пачки.

И я видел эти загрязненные легкие, эту увеличенную печень, видел, как она — скользкая, липкая, пульсирует у меня в животе. Это и есть человек. Сплошное соединение молекул. Плоть, плоть, и больше ничего, кроме плоти. Вот, оказывается, почему Сократ необычайно презирал все то, из-за чего смертные так много хлопочут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют. Я видел свою гнилую стареющую плоть и уже не слышал, что диктовала одна женщина другой. Я мысленно проникал в плоть их самих, такую же несовершенную и убогую.

— Все в порядке, ничего, требующего эстренного вмешательства у вас не обнаружено. Открытых воспалительных процессов не видно, — успокаивали меня молодые медики, просматривая листочек с отпечатанным на нем диагнозом. Я попытался поколебать их апломб.

— А слышали ли вы о новой болезни, она сейчас очень распространена в Тбилиси, когда человек теряет в весе, тает, как снежная баба на солнце, и неминуемо умирает?

Нет, молодые медики пока не слышали про эту болезнь ничего. Да и о других болезнях, вспыхивающих то здесь, то там с неизвестными им ни по институту, ни по практике симптомами. Сегодня, когда Тбилиси наполнился крысами и тараканами, когда в продажу поступают отравленные радиацией и нитратами



продукты, когда город задыхается от мусора и выхлопных газов, когда через фактически открытую границу с Турцией к нам в республику вместе с кожаными куртками стали проникать холера, проказа и черт знает что еще, эти юные эскулапы то и дело сталкивались в своей практике с загадочными заболеваниями. И это, я видел по их лицам, с каждым днем подрывало уверенность в своих силах и профессионализме.

Мы вернулись домой. Я попросил дочку протереть одеколоном крышку шкафа, понятно, не удовлетворив ее естественного на этот счет любопытства. Молодой врач тем временем занялся принесенными Жорой лекарствами. Они и впрямь оказались дефицитными. Доктор с энтузиазмом посоветовал мне принимать по таблетке после еды. Что же касается пузырька с лекарством — это редчайшее снадобье (кремлевское) против ревматических явлений, но поскольку их у меня не наблюдается, доктор хоть сегодня продаст пузырек за две тысячи. Тем более, срок годности лекарства кончается через месяц.

— Конечно, продайте, — одобрил я такое решение.

Через два часа после их ухода врач вернулся и принес деньги.

Вечером прибыл Жора, уже, слава Богу, без сумки.

— К черту, освободился! Сдал в экспертизу! Как гора с плеч, — вздохнул он облегченно.

Вместо сумки он принес два целлофановых пакета, набитых продуктами. И, облачившись в свой халат, весело побрякивал на кухне посудой и кастрюлями. На стол было подано дымящееся гоми с ломтями сочного сулугуни и бутылка «Тмбаани». Я поднялся с постели. и мы сели за стол. Жора разлил вино в стаканы:

— Выпьем за память Танюши. Царство ей небесное!

Я отпил полстакана, чувствуя, как алкоголь тут же ударяет в голову.

— Да, кстати, твой пузырек с лекарством, все равно он мне как мертвому припарка, упал и разбился.

— Туда ему и дорога, — без тени сожаления отзывался Жора.

— Разбился бы, если б в последний момент я не поймал его в воздухе. Поймал и продал за две тысячи.

Последовала бурная реакция.

— Где? Где две тысячи? — вскочил он со стула.

— На телевизоре.

Жора кинулся к телевизору, сгреб купюры и, стоя, начал их считать. Сунул в карман и вернулся к столу. И только тут вспомнил:

— Сколько я тебе задолжал? Сто? Сто пятьдесят?

— Тебе видней.

— Нет, стой. Кажется, все же двести. И все до копейки ушли на базар. Получай свои деньги.

Он отсчитал двести рублей и пододвинулся ко мне. И все же он не удержался от комментария:

— На моих глазах точно такой флакон аптекарь продал за пять тысяч. Тоже мне, коммерсант.

— Пузырек купил сосед, — ответил я. — Давай деньги, принесу лекарство обратно.

— Сиди, — великодушно разрешил Жора. — Где наша не пропадала!

После обеда я взвесился. И ужаснулся. Стрелка весов остановилась на цифре 68. Я таял действительно, как снежная баба. Термометр тоже не порадовал, остановившись на отметке 39 и 7.

И я лег в постель. И вскоре забылся и уснул. Но покамест не навсегда.

## ВОСЬМОЙ РАЗВОРОТ

Утром меня рабудил голос Гвасалиа, раздававшийся из-за стены. Он с кем-то разговаривал по телефону. Я ничего не понял из этого разговора, так как он шел на мегрельском диалекте. Однако по приподнятому тону и нарочитой галантности я догадался, что он говорит с женщиной. Впрочем, галантность в определенной степени была рассчитана и на соседку — слушайте, мол, и убеждайтесь, какой я интеллигентный и в высшей степени порядочный человек. Я не ошибся. Ворвавшись в квартиру, он сообщил, что к нам в пять часов пожалует дама. И поэто-

му я должен немедленно встать и привести себя и квартиру (развел, понимаешь ли, пылищу!) в порядок.

— И вообще, сколько можно валяться? Самому не надоело? — крикнул он из гостиной.

Ничего себе заявление! Я с самого начала знал, что этот человек не даст мне спокойно умереть. Вдобавок ко всему он раскрыл в гостиной окна и двери, чтоб выветрить застоявшийся запах никотина. В квартиру ворвался холодный мартовский ветер. Сдав голову Бжалава в экспертизу и за получив две тысячи за лекарство, он совершенно обнаглел и вел себя как хозяин. Я попытался сбить с него спесь.

— Сам уберешь, — крикнул я, закутываясь в одеяло.

— А кто пойдет на рынок и в магазины?

— Кто к нам придет?

— Луиза Пачалиа! — торжественным тоном сообщил Жора, появляясь в дверях спальни в шляпе и макинтоше. — Жена Бачи. Женщина высшего класса, сам убедишься. И, между прочим, — тут он лукаво мне подмигнул, — большая плутовка.

Оказывается, эта Луиза, узнав о предстоящей экспертизе, тотчас приехала вслед за Гвасалиа и два дня его усиленно разыскивала.

К пяти часам, облачившись в спортивный «Адидас», я был уже на ногах. Я еле передвигался, но мерить температуру не стал, а, взглянув на весы, с ненавистью запихнул их ногой под книжный шкаф, чтобы они не мозолили глаза.

Ровно в пять в дверях раздался звонок, и Жора кинулся их открывать.

Луиза оказалась дородной провинциалкой, но без тени чопорности, проявить которую при своей внешности и недостатке культуры она смело могла бы себе позволить. И одета она была весьма солидно. Черный импортный плащ, белый шарф, на голове пикантная черная шляпка, кокетливо надвинутая на глаза. И платье — закрытое и черное, черные сапожки. Как и всякая добропорядочная вдова, она не вылезала из траура. Одним словом, выглядела она весьма презентабельно, а египетское скуластое лицо было исполнено ума и даже благородства. И если б эта милая

дама не раскрывала рта, то вы могли бы назвать ее мегрельской Джокондой. Но вся беда в том, что рта она вообще не закрывала, и вместе с ее грузинской речью, обильно приправленной диалектом, из него поперла глухая провинция.

Познакомившись со мной, она сказала, что помнит меня по Сухуми, когда была совсем маленькой. Узнав же, что я болен и у меня высокая температура, раскудахталась вовсю.

— Пол! Пол! — затарахтела она с явным мегрельским акцентом. — Такой грязный пол! Конечно же, будешь болен! Было бы странным, если б был здоров. Все ведь идет от пола. Неужели не нашлось человека, который бы его помыл! Ведь пол — это главное. По нему мы ходим, им дышим! Да я сама вымою тебе пол, если нет никого, кто бы это сделал! Пол! Пол ужасный!

Войдя в гостиную и увидев на стене фотографии моих отца и матери, Луиза даже прослезилась. Как же, она помнит их, она все детство почти каждый день ходила в театр. Сначала ее водила мама, тоже страстная театралка, и назвала ее Луизой в честь Луизы из «Коварства и любви», которую играла моя мама. Все это не могло меня не растрогать. Особенно слезы на глазах. И я сказал, что уже недалек тот день, когда вновь встречу с ними, отцом и матерью, но уже «на той стороне».

— Типун тебе на язык! Типун тебе на язык! Тьфу! Тьфу! Слышать не хочу таких слов, а тем более от мужчины. Бедный мой Бачи лежал без движения парализованный и еле ворочал языком, и то не терял веру! Чтоб больше подобного я не слышала!

Ее возмущение звучало хоть и дико с точки зрения фонетики, но подкупало непосредственностью.

Жора накрыл шикарный стол. Дымящееся гоми с воткнутыми в него ломтями сулугуни, копченое мясо, мегрельские купаты, аджика, ткемали, зелень, бутылка коньяка и шампанского, боржом, лимонад — все даже лучше, чем в лучших домах Лондона, потому что англичане не умеют готовить гоми, а про аджику и слыхом не слыхивали. Первый тост Жора поднял за память Бачи, его лучшего друга, человека кристально чистой души. Переходя с грузинского на мег-

рельский и перескакивая вновь на грузинский, в который он то и дело вставлял русские слова, а то и целые предложения («Это был человек с большой буквы!» «Скромность украшает человека!» и так далее), войдя в раж, он заявил, что, если бы, к примеру, его смерть воскресила друга, он, не колеблясь ни минуты, пустил бы себе пулю в лоб! С радостью бы это сделал!

Луиза слушала его с недоверчивой миной.

— И не стыдно тебе было его отрезанную голову везти в Тбилиси? — с кислой гримасой поинтересовалась она.

— Что?! Какую голову?! — не «понял» Гвасалиа. Он даже слегка опешил.

Луиза продолжала недоверчиво на него смотреть.

Жора встал и заметался по комнате. Объясните ему, в конце концов, что происходит и что означают ее слова.

— Будто ты и не знал, что в сумке его отрезанная голова, — уточнила Луиза.

— Что?! Какая голова! Не сводите меня с ума!

И он разыграл комедию по всем правилам теории Станиславского. Ему дали сумку и письмо в конверте (которое он, конечно, будучи порядочным человеком, не распечатывал, с тем, чтоб он сдал все это в экспертизу Верховного Суда). И он выполнил это поручение брата Бачи только из уважения к памяти Бачи. Но что в сумке находилась его отсеченная голова, он слышит впервые. И от этой мысли его пробирает ледяная дрожь.

— Мурашки по всему телу! — кричал он с надрывом в голосе.

Как? Для чего отсекали голову уже мертвому человеку? Кому это надо? С какой целью?! У него голова идет кругом от того, что он слышит! Извольте объяснить! Извольте выложить ему сейчас же всю правду, какой бы ужасной она ни была!

Луиза выслушивала эти заклинания без энтузиазма. Она не верила ни одному его слову. Не такой уж была душой, как это могло показаться с первого взгляда.

И тут разговор перешел на мегрельский. Жора, не

переставая «доигрывать комедию», метался по комнате. Луиза изредка вставляла слова, окисляя его пафос бытовщиной. Но постепенно и она распалилась.

— Вы, изверги и людоеды, отдайте мне голову моего любимого Бачи! — и она дала волю слезам. — Вы все оставшиеся в живых Бжалава и Гвасалиа в придачу мизинца его не стоите!

Однако Гвасалиа продолжал гнуть свою линию — все никак не мог опомниться от только что услышанного. Я понимал лишь отдельные слова. Но, судя по интонации, разговор протекал именно в таком ключе. И, наконец, не ставя ни во что его игру в порядочного человека, женщина спросила напрямик — сколько тебе обещали эти скряги за содеянное? Ведь все равно не дадут, отделаются какой-нибудь кожаной курткой из Турции (благо, ездят туда поодиночке всей оравой и понастроили спекулянтские будки по всему городу), а она даст ему в десять раз больше и наличными, если Жора вынесет голову из экспертизы и даст ей возможность закопать обратно в могилу.

— При чем деньги?! — взвился Гвасалиа. — Все, что я услышал, меня потрясло! Чуть разума не лишился! А деньги — это последнее дело!

Я понял, что сейчас будет муссироваться это «последнее дело», пойдет торг, и решил удалиться в спальню. Тем более, что температура, вероятно, перевалила за сорок и вся сцена разыгрывалась как бы в тумане. Лежа в постели, я некоторое время слышал их голоса. А потом вдруг стало тихо. И я, грешным делом, подумал, что Жора в качестве аванса, запросив самое заветное из того, что могла дать эта аппетитная дама, от разговора уже перешел к делу. Такие, как он, давно мою квартиру превратили в бардак, остается лишь красный фонарь повесить. И повешу! Ей-Богу, повешу, если не умру.

## РАЗВОРОТ ДЕВЯТЫЙ

В тот вечер Жора пошел провожать Луизу и уже не вернулся. Думаю, что ночь он проторчал на вокзале. Но не было еще и семи утра, когда я услышал, как в замочной скважине побрякивает ключ. Он вернулся со злополучной сумкой. Мой Ципо превратился



в ежа и угрожающе зарычал. Гвасалиа попытался незаметно проскользнуть в гостиную и спрятать там сумку, но через открытые в спальне двери я усек этот маневр и решительно поднялся на ноги. Я понял, что ни в какую экспертизу голова Бачи не поступала. Скорее всего, он держал ее в камере хранения на вокзале.

— Опять ты приволок эту сумку? — зарычал я, наполняясь яростью.

— Да пойми, дурачок, на этой сумке мы провернем комбинацию в миллион рублей! Будет хотя бы на что тебя хоронить, если ты уж действительно «туда» собрался!

Если б не голова Бачи, я выбил бы ногой сумку из его рук и вытолкнул бы ее пинками на лестничную площадку.

— Сейчас же убирайся вон! — Я был непреклонен.

Жора хлопнул в ладоши и расхохотался:

— Если б ты знал, какой у тебя ишачий вид!

— А у тебя собачий!

Ципо отчаянно залаял, видимо, опротестовывая такое сравнение.

— Давай! Проваливай!

— Я уйду, — твердо заявил Жора. — Но так и знай — ноги моей в этом доме больше не будет!

И он скрестил с моим взглядом свой оскорбленный взор.

— Вот и прекрасно! Ты что, в лотерею мне достался?

— Неблагодарность — удел рабских душ! — изрек Гвасалиа.

— Интересно, за что тебя благодарить? За то, что сделал из меня воздушного акробата?

— Намлулу! — закричал Жора и сделал страшные глаза.

Я понял, что он сейчас хочет сбить меня с толку непонятым словом, чтоб потом всю ссору превратить в шутку, и не попался на удочку.

— Намлулу можешь засунуть себе в одно место. Тоже мне еще — Цумба из филармонии!

И тут он уже взвился.

— Да знаешь ли ты, что во время твоего боя с

Геловани я сорвал голосовые связки и с тех пор хриплю, как сифилитик!

— На моем бое с Геловани ты выиграл десять кутежей в ресторане «Абхазия»! И еще кое-что.

— Это ложь! Гнусная сплетня! — брызнул слюной Гвасалиа.

— В тебе вообще нет ничего святого! Во время демонстрации при народе ты обоссал памятник Ленину!

— Это был политический акт!

— Нет, дорогой, ты тогда отхватил на спор миллион рублей!

— Это гнусная ложь и клевета!

— Это правда!

— А я говорю — ложь! За эту акцию мне сегодня, если есть Бог на небе, обязаны вручить орден или хотя бы медаль за отвагу! И мне вручат их!

— Аферист!

— Маменькин сынок!

— Молодцы те ребята, что раскромсали тебе вставные челюсти в ресторане «Баку». Ну как — поставили памятник твоему Берия на Красной площади?

— Уже готовится проект и объявлен конкурс! А те фраера, которые воткнули нож тебе в задницу, будут вспоминать меня все оставшиеся годы!

— Врешь! Во-первых, не в задницу, а в ногу! А во-вторых, ты должен был им заплатить за свои ящики и документы. А ты решил отделаться рестораном за мой счет!

— И много ты заплатил?

— Не заплатил потому, что произошла драка и нас кто-то выпустил через потайной ход!

— Этот кто-то был Жора Гвасалиа! А ты вел себя, как мальчишка. Перетанцевал со всеми ресторанными шлюхами и каждой объяснился в любви! Я затеял потасовку, чтоб спасти твой жалкий гонорар, который ты ждал целый год! Я принял огонь на себя!

— Ты шакал! Хочешь до конца прожить на халаву? Вот! — и я сунул ему под нос кольцо, соединив большой и указательный палец.

Этот хулиганский жест взбесил его не на шутку. Набычив шею, он пошел на меня тараном. Видимо, решил — с больным ему все же управиться. Но в этот

момент мой маленький Ципо, который никого никогда не кусал, зарычал, кинулся на Жору и вцепился зубами в щиколотку.

— Пшел вон, шибзик! — окрысился Жора и пихнул мою собачку ногой. Ципо с визгом отлетел к стене, но тут же с яростью залаял и оцетинился. С полки книжного шкафа с разбитыми стеклами я цапнул маленький альпинистский топорик. Мои намерения были столь убедительны, что Гвасалиа попятился к двери. А тут и Ципо сделал отчаянный наскок. И последние слова моего гостя неслись уже с лестничной площадки:

— Таких родственников я бы сажал на электрический стул!

И тут же я услышал его удаляющиеся шаги. Дело в том, что лифт до моего шестнадцатого этажа не поднимался. Пределом был четырнадцатый. Да и работал ли он вообще.

Перебранка вызвала сердцебиение. Я еле дотащился до постели. Инстинкт самосохранения подсказал мне не ложиться сразу, а походить туда и обратно, как взмыленная кобыла. Я сунул ноги в ботасы и вышел в гостиную. Ципо, грозно рыча, следовал за мной по пятам. Звуки, издаваемые им, в переводе на человеческий язык означали бы: «Разорвал бы гада на части, черт побери!.. Выгрыз бы печеньку... Жаль, что не успел». Из гостиной я побрел в прихожую, снял с вешалки пальто, накинул на плечи и обратно побрел в гостиную. Сердце стучало, как барабан в рок-ансамбле. В движение пришли все винтики мозга. И перед глазами одна за другой начали возникать картины того сумбурного вечера в ресторане «Баку». До этого момента я ни разу не вспоминал о нем, вырубив из памяти, как нечто постыдное. А тут все разом нахлынуло, и я почувствовал, что сгораю от стыда и краснею прямо на глазах, как оранжерейный помидор.

После моего громогласного призыва с подмостков эстрады — «Браво, Жора Гвасалиа», я, по выражению Жоры, и впрямь потерял «ключи от ж...». И это тут же усекли разбросанные по всему залу вертихвостки—обитательницы заведения. Как только начинала играть музыка, то одна, то вторая приглашали меня на танец. В благодарность я каждой из них объяснял-

ся в любви, предлагая руку и сердце. А когда танец кончался, подзывал официанта и распорядился, чтоб он подал бы к столу моей очередной возлюбленной шампанское.

— Сколько человек за столом, столько и бутылок, — уточнял я солидно.

Дело дошло до того, что я сунул маэстро две сторублевки, заказал лезгинку, которую не танцевал сроду. Танец, который я продемонстрировал на потеху всему ресторану, напоминал скорее «бой с тенью». И все же одна из посетительниц выпорхнула в круг, жеманно вскинув руки и повернув голову в профиль. Руки у нее были длинные, как грабли. Да и вся она была длиннющая, как каланча, с дегенеративно удлиненным подбородком. После танца я притащил ее к нам за стол, усадил рядом и стал уверять, что дальнейшая моя жизнь без нее превратится в сплошную пытку и даже кошмар. А когда к столу подошел ее муж-верзила баскетбольного роста с мутными желтыми глазами, я стал молить его не препятствовать нашему счастью, предлагая взамен пачку денег, которую вынул из кармана. Если б не Жора, схвативший меня сзади за руки, я вряд ли позволил бы этому великану увести «избранницу моего сердца». Он уволок ее, чтоб появиться вновь уже потом, когда началась потасовка. До нее оставалось минут пятнадцать. Нарасхват был и Жора. В отличие от меня он подбирал для танца дородных дам с круглыми, как блин, лицами и замысловатыми трехъярусными прическами.

— Нажми на тормоза, — бросал мне он время от времени, когда наши пары оказывались поблизости.

К этому времени я около тысячи рублей потратил только на оркестр. И кажется, правильно сделал. Именно с помощью ударника, открывшего нам дверь «черного» хода, мы унесли в тот день ноги.

Более месяца я проторчал в Москве, неизвестно где питаюсь и ночую, в ожидании маленькой бухгалтерской справки, которую должна была переслать киевская киностудия Центральному телевидению. Я дал зарок не возвращаться в Тбилиси с пустыми руками, и именно в тот день, за час до того, как встретил Жору на улице Горького, наконец-то вырвал из

кассы Агентства авторских прав в Лаврушинском переулке свой долгожданный куш. И уже успел купить японский зонт. А что там куш. На сколько бы он хватил? На месяц... на три... А потом?

— Сейчас я устрою скандал, — отведя меня в сторону, пыхтел мне в рот Жора. — От тебя потребуются один маленький нокаут. Неважно кого. Все остальные я беру на себя.

— К черту! — отвечал я по-грузински. — На билет в Тбилиси мне хватит, а на остальное наплевать.

— А мне — нет! — хрипел мне в лицо Жора. — Эти головорезы принесли мне документацию и сопроводилку, а я им подсунул «куклу». Сейчас они станут делить бабки, и тогда нам хана!

— Какую «куклу»? — не понял я тогда и не понимал вплоть до сегодняшнего дня. Прокручивая в воспаленном мозгу подробности того вечера, я наконец-то сообразил, какую «куклу» он имел в виду.

А тогда, сразу после того, как мы вернулись к столу, Жора, обливаясь потом, громогласно предложил встать на ноги всем посетителям ресторана и выпить за светлую память Лаврентия Берия — человека кристально чистой души и нежного любящего сердца. Он был уверен, что среди посетителей объявится оппонент и это послужит поводом для скандала. Номер не прошел. Посетители, посмеиваясь, смотрели на разгоряченного оратора. А одна из подвыпивших барышень пискнула на весь ресторан:

— Берия хоть женщин любил, а эти импотенты кого любят?

Взрыв хохота пронесся по залу московского ресторана «Баку».

И все же повод для скандала нашелся. Один из наших сотрапезников — рыжий и веснушчатый Коля за одним из столиков ресторана обнаружил собственную жену. Он перетацил ее к нам за стол и сейчас вполголоса выяснял отношения. Оказывается, «пышечка» часто отлучалась из дома в вечерние часы, ссылаясь на ночную смену и добавочный заработок. Что касается заработка — все было верно. Однако Коля был уверен, что жена подрабатывает на табачной фабрике.

— Говорят тебе, Азка Харламова пригласила на

день рождения, — все больше раздражаясь, шипела «пышечка». — Не веришь, пойдн и спроси.

Коле ничего не оставалось, как поверить. Он уже собирался было это сделать, но тут Жора подошел к Коле и выложил ему правду в глаза.

— Твоя жена профессиональная проститутка! Заявляю это официально и при свидетелях!

— Чего? — растерялся Коля.

Они стояли нос к носу. Коля был на голову выше Жоры и шире его почти вдвое. Но это не смутило моего приятеля. Он смело повторил свое заявление. Через секунду он выплевывал два золотых зуба себе на ладонь. И вдруг схватился за бутылку. Мой правый прямой сбил Колю с ног. Левый сбоку коснулся кончика подбородка одного из приятелей Коли, и он повалился на стол. Звон битой посуды всколыхнул зал. Дамы завизжали. Мужчины заматерились. На шум в зал ввалилась толпа из соседнего блока. И тут кто-то воткнул мне в икру ноги нож. Я этого даже не заметил. И только почувствовав, что нога мокрая, задрал штанину и увидел кровь. Дрался весь ресторан. Оркестр вовсю брнчал соответствующую моменту «Ламбаду». Кто-то схватил меня за ворот и прижал к стене. Я с трудом узнал верзилу баскетбольного роста, с женой которого танцевал лезгинку. Он буквально душил меня и гундосил:

— Таких, как ты, гнид уничтожать надо.

Мне ничего не оставалось, как дать ему коленом промеж ног. Жора дернул меня за руку и впихнул в низкую дверь. Пройдя следом, он тут же запер дверь на засов. Мы оказались в темном грязном подъезде.

— Леха, где ты? — крикнул Жора.

Потеряв два зуба, он слегка шепелявил.

— Тут я, начальник, — раздался в ответ стариковский голос.

Перед нами возник человек в телогрейке и ушанке. Он протянул нам наши пальто и шапки.

— А фонтик? — прошепелявил Жора.

— А зонтика нет. Сломался, — сообщил Леха весело, словно бы приятную новость.

— Как так сломался? — опешил я.

— А вот так и сломался, — спокойно повторил старик.

— Я куплю тебе зонтик, — заверил Жора и пихнул меня вниз по лестнице. — Быстрее! У нас нет ни минуты! Эшелон отправляется через час! Я куплю тебе зонтик! Если ящики удастся довести до Сухуми, я сделаю из тебя Рокфеллера! Вперед!

Ничего не понимая, я следовал за ним. Мы выскочили на боковую улицу и понеслись по мостовой; голосуя перед каждой встречной машиной. Остановила нас машина «скорой помощи». Мы сунули водителю двадцать пять рублей (о, тогда это были деньги), и «скорая» понесла нас на Курский вокзал.

## ДЕСЯТЫЙ РАЗВОРОТ

Ничто так не сближает людей, как дорога, и нигде не познается человек во всех мелочах и оттенках, как в дороге под одной крышей, особенно, если это крыша товарного вагона. Одну его треть занимали средней величины ящики. В них, как говорил Жора, были упакованы аккумуляторы, которых с нетерпением ждут в Сухуми. Для чего они предназначались, я не знаю и поныне. Жора уверял, что как только аккумуляторы придут в столицу Абхазии, он в тот же день станет обладателем неслыханной по советским меркам суммы, часть из которой по праву принадлежит и мне.

Из Москвы до Сухуми товарный состав добирался приблизительно две недели. Он часами, а то и сутками застревал на запасных линиях крупных станций, а иногда вдруг останавливался в поле посреди занесенных снегом пустырей. И тогда только карканье ворон над нашим составом свидетельствовало о том, что жизнь на планете Земля еще продолжается. Два ящика заменили нам кресла, третий — посередине, устланный газетой, превратился в стол. На одной из станций Жора раздобыл лампочки и шнур, подсоединил их к аккумулятору, и наш салон озарился лучами цивилизации. Поверх многочисленных свитеров Жора больше для комфорта облачился в халат. Ступни его ног, обогреваемые двумя парами шерстяных носков, были просунуты в мягкие шлепанцы с помпончиками. Костюм его, помещенный в целлофановый футляр, висел в углу на складной вешалке. Рядом он приссбачил

к стенке вагона зеркальце, а под ним на ящике лежали его бритвенный прибор, флаконы и пачки презервативов. Все вместе взятое именовалось «джентльменским набором». Мало того — на одной из станций мы обзавелись хозяйством: чайник, сахарница, стаканы, ложки, блюдца — все это было аккуратно разложено на двух отдаленных от «стола» ящиках. Согревались мы водкой и гимнастикой. Кроме того, Жора раздобыл где-то лист жести, на котором мы разжигали костер и долго среди ночи грелись у его тлеющих углей.

Костер, который мы разжигали, чуть было не оборвал наш вояж. На одной из станций, кажется в Курске, дверь вагона резко отодвинулась, и мы увидели грозные силуэты представителей железнодорожной ревизии. А может, охраны. Честно говоря, не знаю, кого представляла та группа во главе с верзилой в кожаном пальто. Среди них находились крепыши в военных шинелях с автоматами наперевес. А что увидели они — представители железнодорожной власти? Тем более, что скупое ноябрьское солнце, уходя за горизонт, очень рельефно высвечивало внутренность вагона с тлеющим костром и бутылками водки на импровизированном столе. Они увидели буржуйчика в халате и с усиками с сахарницей в одной руке и термосом в другой. Вид у буржуйчика был немного растерянный. Позади него маячила небритая физиономия городского оболтуса с огрызком дымящей сигареты, прилипшей к губе. Картина была столь колоритной, что верзила в кожаном пальто не удержался от злорадной ухмылки.

— Ишь устроились, красавцы!

И началось обычное при таких радостных встречах: Документы!.. Что везете?!.. На каком основании костер?! Кто такие?! Откуда?! Куда?! Представленные Жорой бумаги показали представителю власти весьма подозрительными.

И снова последовали приказы: Отцепить вагон!.. Проверить содержание ящиков!.. Махотько разберется!

— Не знаете, кто такой Махотько? — с черным сарказмом поинтересовался у Жоры начальник ревизии в ответ на неуверенные возражения Жоры и,



оглянувшись на своих людей, злорадно ухмыльнулся: — Вишь!.. Не знают, кто такой Виктор Махотько. — И он снова обратился к Жоре: — Виктор Махотько это гот, кто шкуру с вас, паразитов, сдерет! С живых сдерет!

И тут последовал контрудар такой сокрушающей силы, что сейчас, вспоминая его, мне ничего не оставалось сделать, как снять шляпу, если б она сидела на голове, и отвесить поклон своему «ближайшему родственнику». До этого момента он вяло и миролюбиво парировал наскоки железнодорожной ревизии, уверяя непрошенных гостей, что все соблюдено по форме, а человек, находящийся с ним в вагоне, — известный грузинский драматург, взваливший на себя обременительную обязанность охранника государственного имущества.

— Покажи им свои документы, — предлагал он мне. — Чтоб не думали...

Когда же речь зашла о некоем легендарном Махотько, который будет живьем сдирать с нас шкуру, Жора, резко изменив тон, нашел те единственные слова, которые могли спасти положение.

Минометная очередь изысканной матерщины озадачила даже наших ревизоров, вскормленных на площадной ругани. Меня же, как филолога по образованию, восхитили возможности и, я бы сказал, беспредел великого русского языка. Форма, форма... именно она творит порою маленькие языковые чудеса, это вам скажет любой поэт. Содержание же тирады, выполненной Гвасалиа, заключалось в том, что он использует рот вышеупомянутого Махотько в качестве унитаза. Смело, конечно, но... уже неоднократно слышимое, затасканное. Но как это было сказано! Почему со мной в тот момент не оказалось ручки и бумаги, чтоб записать сказанное, запечатлеть на бумаге то, что, быть может, уже никогда не повторится.

Выпалил и рубанул кулаком по воздуху. Волосы при этом упали на лицо, прикрыв один глаз. Второй же метал громы и молнии.

И опять же это был уже не Жора Гвасалиа. Безоглядной отвагой он отождествился в моем сознании с Александром Матросовым, грудью своей прикрыв-

шим амбразуру пулемета гитлеровцев в бою за деревню Чернушки.

Его отвага внесла растерянность в стан ревизирующих нас «товарищей», и, воспользовавшись паузой, Жора, налегая на голос, изрек с несокрушимой уверенностью:

— За диверсионный подрыв государственного промышленного плана и всей пятилетки пойдете под суд, а Махотько в первую очередь!

«Браво, Жора Гвасалиа!» — восхищался я в глубине души. Враг дрогнул и пошел на попятную. Еще немного и он будет сломлен! Дальнейшие события подтвердили это.

— А костер почему разожгли? Не знакомы с инструкцией? Составить акт, — распорядился верзила в кожаном пальто. Но куда девалась его чванливая спесь, его наглая уверенность, что я и Жора начнем ползать в его ногах, моля о пощаде.

На передний план выступил человек с планшетом. Он вынул из него лист бумаги и шариковую ручку. Однако одеревеневшие на морозе пальцы не желали ему подчиняться.

— Да отогрей руки у углей, недотепа, — сердито посоветовал Жора.

Человек в кожанке и тощий составитель акта влезли в вагон. Писака протянул руки к костру. Жора резко задвинул затвор вагона прямо перед носом автоматчиков. Верзила в кожанке вопросительно уставился на недопитую бутылку водки. Только сейчас при свете лампочек я разглядел его словно бы топором вырубленное лицо, сплошь усыпанное черными угрями. Пока писака составлял акт, Жора наполнил два чайных стакана водкой и поставил перед непрошеными гостями. Нераскупоренную бутылку он протянул начальнику конвоя.

— Это ребятам, пусть согреются.

— Легко отделаться хочешь, — усмехнулся начальник.

— Вот это деловой разговор, — энергично одобрил Жора, тут же вынул из кармана деньги, отсчитал десять червонцев, но подумав секунду-другую, присовокупил к ним еще пять.

— По десятке ребятам.

Прощались мы, как добрые приятели.

— Костер не разжигайте. Вагон целиком сгорит за семь минут. Что вам жить надоело? — посоветовал верзила, разрывая лист с составленным актом.

Когда ревизия наконец-то убралась, Жора с победоносным видом взглянул на меня и изрек:

— Такие, как Жора Гвасалиа, на улице не валяются!

Я и сам это прекрасно видел.

Оставшуюся часть пути нас уже не беспокоили железнодорожные патрули. Мы, как и раньше, продолжали разводить костры на листе жести. Спали мы в глубине вагона на ящиках, укрывшись пальто и подложив под головы ушанки. Так и добирались. На больших станциях Жора делал вылазки. Возвращался он с буханками хлеба, с бутылками водки, обледенелыми на морозе пирожками и прочими съестными припасами, которые можно было приобрести в привокзальных буфетах и киосках.

На одной из станций он привел к нам в вагон — под руку, как и подобает джентльмену — дородную даму с громадным чемоданом. И пыхтел с ней по ночам на огороженном ящиками ложе. Клавдия Петровна (кажется, так ее звали) оказалась дамой строгого нрава. Она категорически запретила мне курить в вагоне (сыплешь пеплом по всему вагону, да и дышать нечем) и дала цикл рекомендаций по поводу правил употребления водки.

— Пьешь и ничем не закусываешь. Разве так поступают порядочные люди? Загнешься раньше срока. Вон и в глазах песок. И руки трясутся.

— А как надо? — поинтересовался я на всякий случай.

— А надо культурно: выпил — закусил. Выпил — закусил! Еще выпил — еще закусил, — тонко улыбаясь, уточнила она. И, между прочим, была абсолютно права.

В Харькове на перроне вокзала Клавдию Петровну встречал муж — довольно-таки благообразный полковник с благородно убеленными висками. Жора горячо пожал ему руку и сказал:

— Имел удовольствие быть попутчиком Клавдии Петровны. Сегодня таких умнейших и благородней-

ших дам днем с огнем не найти. Очень прошу, берегите ее. Особенно нервы. Она у вас золото.

Мы продолжили путешествие вдвоем. Но в Ростове к нам в вагон запорхнула еще одна перелетная птичка — очень тощая, скуластая мордовка с вздернутым носом и синими кошачьими глазами, совсем еще девчонка. В порядке живой очереди мордовка была предоставлена в мое распоряжение, и сейчас уже я по ночам забираюсь на забаррикадированное ящичками ложе.


— Не забудь надеть гандон, — каждый раз напоминал мне Жора по-грузински. Не находя адекватное слову «гандон», он так его и называл.

— Да рвутся твои гандоны, кому это надо, — хриплым голосом парировала мордовка.

Утром мы, поливая друг другу из кружки, умывались и усаживались за «стол». Галя (так звали мордовку) своими чистенькими прозрачными пальцами подавала завтрак — ломтики краковской колбасы, пиво, водку, головки чеснока, кофе. После завтрака, если состав не останавливался, мы усаживались вокруг костра, и Жора рассказывал нам случаи из своей жизни. Никогда раньше при мне он этого не делал — на это просто не было времени. Ежесекундно втянутый в перипетии повседневности, он неуклонно, как скорый парижский экспресс, несся вперед — в никуда. И кажется впервые в жизни ему предоставилась возможность перебрать в памяти кое-какие страницы прошлого. Это были удивительные истории, и, если Бог действительно есть на небе, то, конечно, не мне, а именно ему надлежало бы быть сценаристом. А Бог на небе, безусловно, есть, и если Он не приберет меня к рукам в ближайшие два-три года, я обязательно поведаю историю Жоры Гвасалиа любителям плутовских рассказов. Но одну из них я расскажу прямо-таки сию минуту. Расскажу вкратце, своими словами и без каких-либо комментариев.

## БЕССМЕРТНЫЙ ДУША ХУЧАДЗЕ

**Ж**ора учился в седьмом классе Зугдидской русской школы, проживая тут на попечении одной дальней родственницы. А после того, как его выту-



рили из школы, переехал в Озургети, к дяде, парикмахеру, человеку, гордящемуся своей честностью и больше всего на свете оберегающему свою незапятнанную ничем репутацию. Например, найдя на улице, скажем, пять рублей, он мог целый день ходить по городу с этой пятеркой, обращаясь к каждому встречному:

— Не вы ли, уважаемый, потеряли пять рублей в парке перед гостиницей?

В классе с Жорой за одной партой сидел пухленький мальчик — Душа Хучадзе. Мать этого Души — тетя Верочка — была в школе своим человеком. С ней сожительствовали директор школы, физрук и завхоз, и это, разумеется, ставило ее в привилегированное положение перед прочими мамашами и бабушками. Тетя Верочка весь день торчала в учительской и бойко подергивала веревку, приспособленную к язычку колокола, перед каждым новым уроком.

Сын ее — Душа — типичный маменькин сынок — ничем особенным не отличался, если не считать его привычки во время урока то и дело лезть под парту. Отсюда открывалась заманчивая панорама, особенно на уроках пухленькой Франгулян, которая, усаживаясь за стол, широко раздвигала ноги.

— Сегодня зеленые трусики надела, — оповещал Жору Душа, вылезая из-под парты. Потом он опускал голову и долго возился под партой... Кажется, Франгулян догадывалась о его гнусных проделках.

— Какой же ты мерзкий, Хучадзе, — замечала она бывало, с брезгливостью глядя на тринадцатилетнего негодяя.

В один прекрасный день, весной, перед экзаменами, в школу пришла невероятная весть — Душа умер. Так оно и было на самом деле. Какая-то странная болезнь свалила его за три дня. Одноклассники пришли на панихиду, выразили сочувствие убитой горем матери, но та была безутешна.

— Он не умер! — вопила она, заливаясь слезами. — Он крепко спит!

Она так глубоко вбила в голову эту идею, что отказалась хоронить сына... И только после неоднократных жалоб соседой и с помощью милиции не-

большой гроб силой вынесли из дома и закопали на городском кладбище.

Прошла неделя. Тетя Верочка подстерегла Жору у школы, отвела в сторону и сказала:

— Душа больше всех товарищей любил тебя. Вы же сидели за одной партой. Так вот: Душа не умер, а только заснул. Собери пятерых ребят, пойдем сегодня ночью на кладбище и откопаем Душу. А в награду я каждому подарю поросенка.

Жора знал, что свинья ее опоросилась неделю назад, и активно принялся за организацию столь необычного предприятия.

В ту же ночь пять мальчиков с лопатами, возглавляемые тетей Верочкой, отправились на кладбище. Вовсю светила луна, и участники экспедиции быстро нашли нужную могилку. Они откопали гроб, подняли его веревками, сняли крышку. И как только они открыли ее, маленький Душа, как ни в чем не бывало, вылез из гроба и прикрыл глаза ладонью: какое яркое солнце, говорит. Оказывается, он правда не умер. Это был всего лишь летаргический сон. И окрыленная тетя Верочка звонила в эти дни в школьный колокол с такой неистовой страстью, что слышно было во всем Озургети. Обещанных поросят она никому не дала, а когда Жора, встретив ее на улице, напомнил об этом, щелкнула его пальцем по носу.

— Сам ты поросенок.

В ту же ночь Жора выкрал из свинарника поросенка и, чтоб он своим хрюканьем не привлекал внимания, зарезал и принес домой. Дома же сказал, что это дикий поросенок, которого он поймал в овраге. И вот, когда вся семья — честный парикмахер, его престарелая мать и маленький Жора сели к столу, чтоб отведать за обедом поросятину, открылась дверь. И Жора увидел Душу, тетю Верочку и милиционера Геронтия. Похитителя накрыли с поличным, и Геронтий тут же начал составлять акт.

Конечно же, Жору на следующий день в очередной раз исключили из школы. А его дядя — парикмахер Шалико на протяжении целой недели ежедневно порывался броситься под тбилисский поезд, ибо не мог пережить позора, очернившего его честное имя. Его спасало лишь то, что он, каждый раз



взглянув на часы, громогласно заявлял, что идет бросаться под поезд, и люди, знающие его принципиальность, скручивали ему руки и привязывали к парикмахерскому креслу. И дядя Шалико плакал горькими слезами.

Жора перебрался к мамиде<sup>1</sup> в Поти, потом еще куда-то и наконец закончил школу экстерном в Зугдиди за пять тысяч рублей.

Прошли годы. Пять судимостей и троекратное пребывание в изоляции от честных граждан — далеко не полный перечень страданий, горькую чашу которых испил Жора Гвасалиа, игнорирующий уголовный кодекс. И надо же — все пять раз, то в Сухуми, то в Поти, то еще где-то следствие по его делу поручалось человеку с гноящимися глазами и подленькой улыбкой, кривящей тонкие губы. То ли Душа Хучадзе специально переезжал с места на место, следуя за передвижениями Гвасалиа, то ли так распорядилась судьба-проказница, но каждый раз именно Душе Хучадзе вверялась судьба подследственного. И тут уже Душа плел свои сети. Он каждый раз раздувал дело чуть ли не до преступления века. И каждый раз, чтоб смягчить статью, несчастному Жоре Гвасалиа приходилось жертвовать всем, что он имел.

— Два дома вместе с мебелью продал, но Душе все было мало. Последний раз после моей политической акции у монумента он припаял мне 58-ю статью. И все с улыбочкой... И на черта я его выкапывал? — печально рассказывал Жора.

Но ведь всему есть предел. Как-то, приехав в Озургети, Жора увидел на улице похоронную процессию. Сразу за гробом шла старуха в черном и вопила истощенным голосом:

— Куда вы его несете? Он не умер... Он только заснул!

Жора обратил взор на гроб и почувствовал, как по всему его телу разливается царственная нега. В гробу очень уютно лежал Душа Хучадзе с ехидной улыбкой на искривленных губах. Жора кинулся к несущим гроб мужчинам и быстро заменил одного из них. По дороге до кладбища он, хоть и выбился из

---

<sup>1</sup> Мамида — сестра отца.

сил, никому не позволил себя заменить. Он сам забивал крышку гроба гвоздями. Он сам вместе с могильщиками зарывал гроб и утрамбовывал холмик подошвой. И все это под аккомпанемент неистовых воплей.

— Не зарывайте его, он не умер... Он просто заснул!

На следующий же день Жора раздобыл массивный надгробный камень, с помощью целой бригады грузчиков притащил его на кладбище и водрузил на свежую могилу.

Нет, нет, рассказ еще не закончен. Он закончится только после коротенькой реплики, которую произнес рассказчик с печалью.

— А ведь тетя Верочка была права. Душа Хучадзе не умер... Он бессмертный.

Я молча пожал Жоре руку. А Гале рассказ не понравился.

— Бабушкины сказки, — пробурчала она под нос.

Вст так мы и ехали в товарняке, и путешествие это могло бы превратиться для меня в одно из самых приятных воспоминаний, если б не финал, о котором нельзя умолчать.

Итак, поезд шел на юг. С каждым днем это становилось все очевиднее. Все больше и больше солнца вваливалось в проем вагона. Да и сам проем мы расширяли день ото дня, наполняя вагон тревожным воздухом субтропиков. Вскоре состав вырвался к морю. На бесконечно тянущемся вдоль его канвы пляже тут и там в глаза бросались последние купальщики — мужчины, женщины, подростки. Я так любил их всегда — этих слишком ранних и слишком поздних купальщиков, чаще всего стройных, загорелых, а иногда пузатых: женщин в смешных панталонах и бюстгальтерах, явно не вмещающих в свои гнезда огромных, как ведра, сисок, мужчин со сползающими аж до самых колен трусами. Но и тем и другим в высшей степени наплевать, как они выглядят в глазах пассажиров проносящихся вагонов. Главное для них сейчас слияние с морской стихией, с природой. Вот почему я, глядя на них из окон вагона с прилипшей к губе дымящей сигаретой, испытывал ничем не объ-



яснимую зависть. Галя, первый раз в жизни увидевшая море, смотрела на него, улыбаясь и щуря свои кошачьи мордовские глаза. Мир казался прекрасным. Было десять часов утра, когда наш состав прибыл в Сочи — предвестник приближающейся отчизны.

Я вылез из вагона и кинулся с кошелкой в руках прямо в ресторан, чтоб пополнить продовольствие уже до конечной станции. Чем только я не набил нашу сумку. Коньяк, ветчина, лимоны, лимонад и даже бананы в отдельном пакете — все предвещало грандиозный пир перед триумфальным въездом в родные пенаты. Картина, которую я застал, вернувшись к вагону, показалась мне подозрительной. Жора с несколько виноватым видом убирал «стол». А в углу на ящике сидела Галя, прикрыв лицо руками. Смутное предчувствие чего-то грязного, постыдного покоробило все мое существо.

— Что случилось?.. Натянул он тебя? — растерялся я.

Галя отняла руки от лица. Она была вся в слезах.

— Он насильно, я не хотела, — прогундосила она.

— Не ври, — встрял в разговор Жора. — Насильно и кошку не трахнешь.

Он произнес это с мягким отеческим укором, словно бы речь шла о картошке. И тут же обратился ко мне по-грузински:

— Я хотел раскрыть тебе глаза, обыкновенная шлюшка, а ты... развел тут романтическую любовь... Стихи сочинял, наверное.

Он осекся, увидев на лице моем брезгливую отчужденность. И замер со стаканом в руке. В своем полосатом халате он в шаге от меня стоял какой-то жалкий, виноватый, как напроказивший ребенок. Один удар — и я бы расквасил ему нахальную физиономию. Большого и не требовалось. Но что-то удерживало меня. Видимо, то, что Жора старше меня? Что он был приятелем родителей? Что с ним много связано? Что он сорвал свои голосовые связки во время боя с Геловани? Конечно, все это тоже. Но главным было другое. Дать ему в рыло не позволила Таня Барсукова, давно почившая жена этого отъявленного негодяя. Да, я с удовольствием дал бы по

зубам Жоре Гвасалиа, но у меня никогда бы не поднялась рука на мужа женщины, ставшей самым светлым воспоминанием моего детства. Выходит, что и с того света она сумела оградить его от избиения и позора. Я швырнул сумку и пакет на ящики и произнес:

— Пошли, Галя!

Мы вышли из вагона и решительно направились к перрону. Но вот я резко остановился, оглянулся. В проеме товарного вагона стоял Жора Гвасалиа — маленький, жалкий, виноватый. Я плюнул в его сторону и, увлекая Галю за собой, продолжил путь. Но сейчас остановилась она. Оглянулась и от всей, как говорится, души с величайшим презрением плюнула в сторону Жоры.

Так закончился наш совместный вояж. Моего гонорара мне и Гале хватило ровно на двадцать дней. Однако эти двадцать ноябрьских дней в Сочи стали для меня тем отрезком жизни, когда я впервые ощутил прелесть семейного уюта во всех его параметрах. Вплоть до уколов в задницу. Но тут сам виноват — нельзя так самоуверенно отмахиваться от советов опытных людей.

Где ты сейчас, Галочка, легкая, как бабочка, хрупкая, незащищенная девушка, наградившая меня триппером и затерявшаяся в дебрях огромной вздыбленной страны?

## ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗВОРОТ

Наконец-то я успокоился и вернулся в постель. «Не нужно было гнать его на улицу», — пронеслось у меня в мозгу. И вообще зря я порол горячку. Далась мне эта его голова. В конце концов запаха она не издавала. И вероятно, если б не болезнь, я не стал бы так остро реагировать на содержимое его сумки. Голова, так голова. Такое тоже бывает.

«Ничего, вернется за своим халатом и прочим добром, никуда не денется», — думал я, лежа в постели. А то, что он когда-то «трахнул», по его выражению, Галю, так что из этого? Женой мне она была, сестрой или дочкой? В конце концов, он имел на нее такие же права, как и я.


Я думал об этом, когда раздался звонок в дверь. В полной уверенности, что Жора вернулся, я пошел открывать. К своему немалому удивлению, это была Луиза Пачалиа. В руках она держала большую туго набитую сумку. Округлая форма сумки несколько озадачила меня. Но опасения мои были тут же развеяны. Она раскрыла сумку и извлекла пакеты стирального порошка, тряпки и поллитровую банку меда.

— Это башкирский мед, он, как лекарство, — протянула мне банку Луиза и, не мешкая, прошла в ванную. Выйдя оттуда, она уже была в цветастом ситцевом халате, надетом, как я чувствовал, на голое тело. Голову повязала платком. В руках держала ведро.

— Пол — это главное в квартире, — затарахтела моя гостья. — При таком поле подхватишь любую инфекцию. А тараканы-то! Тараканы! Расползлись по всей кухне! Как можно так жить! Собака, тараканы, грязный ужасный пол! Вот я помою его, и тебе, увидишь, сразу станет легче.

Она прошла в гостиную, подошла к серванту и уставилась на фотографии моих родителей. Тут же к стене я прислонил старинную икону и поставил керамический подсвечник. Над ним висела фотография бабушки. А чуть поодаль стояла ваза, слепленная из морских гольшей, и из нее с прошлого года торчали ветки вербы. Этот маленький поминальный уголок, как и все остальное, был покрыт густым слоем пыли. И первое, что сделала Луиза, это протерла фотографии тряпкой, а затем и вазу и икону.

— Какие люди! Какие люди! — тараторила она, и из ее небольшого, четко очерченного чувственными губами рта опять поперла глухая провинция: — Все детство мама меня водила в театр. Когда мама умерла (отец ее зарезал, приревновав к начальнику милиции), меня сдали в детдом. В первое же воскресенье я убежала из детдома в театр. Вдруг вижу — идет актриса Ирина Донаури. Нежная, нежная, с зонтиком в руке. Я подхожу к ней и говорю: тетя Ирина, я из детдома, проведите меня на спектакль. Твоя мама посмотрела на меня (в детстве я была хорошенькая, пухленькая, не то что сейчас), взяла за ру-



ку и завела меня в театр через служебный вход. Посадила за кулисы на стул, потому что был утренник и в зале ни одного свободного места. Что это был за день! Рядом со мной стояли артисты (я всех знала по фамилии), гладили меня по голове, угощали конфетами, шутили. А потом вдруг выскакивали на сцену и включались в свои роли — кричали, ссорились, танцевали. В двух шагах от меня. Тетя Ирина предупредила контролера на служебном входе, что я ее племянница и могу заходить в театр, когда захочу. Рядом с нашим детдомом был фруктовый сад. Инжиры росли такие, как яблоко. Я забралась ночью в сад, нарвала инжиров и преподнесла твоей маме на восьмое марта. А был уже сентябрь.

Боже мой, откуда куда! Я смутно вспоминал, что мать рассказывала о девочке из детского дома и однажды принесла домой чудесный инжир, который ей в сентябре подарила девочка в честь восьмого марта. Я даже ощутил вкус этого инжира — влажного, сочного, тающего во рту.

— Как она играла Кручинину! Меня один раз вывели из партера, так я разревелась. А какой смешной был Шмага. Его играл Сараси Хорава. Какой артист! А помнишь Лео Чедия в «Аршин-малалане»? «Тут болит, там болит». Ах, как он танцевал!

Она помнила всех, и я подумал, что доставлю ей удовольствие, показав старые театральные альбомы. Она накинулась на них, как собака на кость.

— Это «Мачеха». Какой спектакль! А вот Сосо Джаши. Как он смешно играл царя в «Нацаркекия»: «После обеда икаю и икаю». Я всегда ждала третьего акта, чтоб услышать «икаю и икаю». А вот Миша Чубинидзе. Он еще жив. А Лео Чедия, он ведь тоже гигант, умер недавно. Я вырезала из газеты некролог и храню на память. — И она опять прослезилась.

Она помнила буквально каждого артиста и роли, которые они исполняли. И под ее трескотню в расшевелившейся памяти, как тени, стали выплывать их лица. Вот Миша Гагнидзе. Такой степенный и добрый в жизни, он играл исключительно злодеев — Яго в «Отелло», Франца Моора в «Разбойниках», Раввина в «Уриэль Акоста», — и зал наполнялся громыханием его баса. Оля Канделаки — маленькая, кругленькая, она пре-

восходно лепила характерные роли и с таким блеском копировала провинциальных кумушек, что зрители падали со своих мест от хохота. Масхулия. Комик. Он играл совсем маленькие роли, скажем, стражника у входа в Судейскую палату или полицейского Свистунова в «Ревизоре», но каждый раз подбирал своим героям такой гротескный рисунок, что зрители только и ждали его появления на сцене.

Мой отец выпекал спектакли, как кукурузные лепешки, — двенадцать за сезон. В провинции иначе не просуществуешь. Понятно, в театре, помимо него, были и другие режиссеры, но в конечном итоге именно отец доводил каждый спектакль до стандартной кондиции тех времен. Он буквально не вылезал из театра. Ученик великого (с моей точки зрения) Марджанова, отец придерживался его незамысловатой концепции — спектакль должен стать праздником, искусство должно приносить людям радость. Но, конечно, и нести культуру тоже. Он беспощадно воевал с закоренелыми в провинции штампами, а сюсюкающих под наивных недотрог артисток (в ту пору многие из них подражали манере одной «великой» актрисы, «облагораживающей» грузинский язык французско-испанскими ударениями и сюсюкающей, как невинный ангелочек), предупреждал, что при первом же сокращении штатов распрощается с ними, если они не перестанут кривляться. Изживая штампы, он не возражал и даже приветствовал манерность, но при условии, что она суть проявления природной индивидуальности актера. Такая манерность придает образу колорит, делает его объемным. Такую манерность исповедовал блестящий Акакий Васадзе — одно неуловимое движение или жест, одна странная на слух интонация в голосе — и он уже Нерон, или Ираклий II, или Василий Шуйский. Кто угодно, только не Васадзе. Однако первый же его подражатель обречен на провал. Подражать — это значит расписываться в собственной пустоте. Это удел бездарей. Так считал мой отец — главный режиссер с красивым японским лицом, легкой выправкой и хищной породистой кистью рук. Непонятно, за какие грехи Господь ниспослал ему мучительную и унижительную смерть.

Все это разом всплыло в моей памяти, и мне казалось, что я уже давно знаком с моей гостьей.

— Вы абхазка или мегрелка? — спросил я по-русски.

— Сам черт не разберется. По паспорту — абхазка. Мама же была чистой мегрелкой из знатной семьи католикоса Хелая.

К моему немалому удивлению, ответ последовал на хорошем русском языке.

— Вы так любите театр, почему сами не стали актрисой?

— Да поступала, поступала четыре года подряд и не попала из-за мягкого «л». Изживи, говорят, свое «ль» и примем тебя без экзаменов. Но как его изжить, если оно в крови?

Я все отлично понимал. Камнем преткновения было не только мягкое «л». Просто не нашлось человека, который замолвил бы за нее словечко, а без протекции в искусство лучше не лезь. Но, ёлки-палки, как она здорово говорила по-русски. Куда девалось ее мягкое «л» и интонации глухой провинции. Это был правильный и сочный язык человека, возвращенного на русском языке, причем, в интеллигентной семье.

— Луиза, вы без всякого акцента говорите по-русски. Вам следовало бы поступать в Москве или Санкт-Петербурге.

— У них уже были свои Мордюковы, — отмахнулась Луиза. — Я была помещана на грузинском театре. Моей мечтой было стать партнершей Лео Чедия. Неважно, что он в отцы мне годится.

Лео Чедия. Вот это актрисе! Он с одинаковым успехом играл как драматические, так и комедийные роли. Надменная аристократическая внешность, хорошо поставленный сильный баритон и крайняя манерность жестов и интонаций. Откуда только он ее выкопал? Что навело его на мысль начисто пренебречь ядреным Андреевским реализмом? Что служило стимулом то вдруг возвысить голос до крика, от которого сотрясается люстра и у зрителей холодок пробегает по телу, то вдруг перейти на шепот, когда зритель вынужден напрягать слух до предела, чтоб не пропустить ни единого слова. Порою казалось, что

он просто валяет дурака. В жизни никто так не говорит, а тем более не двигается. И именно в этой несхожести был заложен секрет эмоционального воздействия самого условного и в то же время самого демократического искусства. Так играли древние греки, так играют японцы театра Кабуки. Я хорошо понимал Луизу, когда она говорила, что мечтала стать актрисой в театре Лео Чедия. Ведь без импровизации нет театра. И бокса тоже. Сам Всевышний был великим импровизатором, когда сотворял наш безумный мир, в котором пройдоха Гвасалиа носится по улицам Тбилиси с сумкой, таящей отсеченную голову его друга Бачи Бжалава.

— Вы оставайтесь пока тут. Я начну со спальни, — сказала Луиза.

— Дался вам этот пол. И под силу вам эта работа?

— У себя дома я мою полы в двенадцати комнатах. Помыть пол в вашей квартире для меня пустяк.

Она ушла в спальню. Я слышал, как она там двигает кровать, передвигает тумбочку. Слышал, как мокрая тяжелая тряпка плюхается о паркет и как по мокрому полу шлепают ее босые ноги. Но душой я был еще там — в сухумском театре моего детства и юности. Я перебирал в памяти артистов: Тамара Макарашвили, Шушу Санадзе, Тамара Окропиридзе, Сосо Джаши.

— А помнишь Бутия Гамрекели? — влезла в гостиную Луиза. — Какая культура! Какая порода! — Пот лил с ее лица градом. Босые ноги по щиколотку замараны грязью. Платок, повязанный до глаз. Эта женщина, казалось, вовсе не заботилась о своем внешнем виде. Однако, чем проще была она одета, тем отчетливее выпирала изысканность и порода. И все же... Было в ней такое, что отталкивало, оставляло неприятный привкус, хотя и непонятно, что именно.

— О, это был грандиозный артист! — воскликнул я патетично, и тут же поймал себя на мысли, что начинаю, полоумный маньяк, кокетничать. Нашел, видишь ли, время. Если уж решил бесповоротно «туда», то иди с достоинством и не оглядываясь. И на что я мог рассчитывать — исхудалый, небритый, задрипаный.



— Пойдем, помоги мне отодвинуть шкаф.

Ничего себе! С температурой под сорок отодвигать шкаф — занятие не из самых приятных. Но я послушно поплелся за ней. И, напрягая последние силы, не мог оторвать взгляда от отдельных частей ее сильного тела. Две пуговицы на ее халате соскочили с петель, и сейчас я видел ее живот и белые ляжки. Ну что вам сказать: как это у Тургенева? — хоть сейчас в анатомический театр. А может, лучше в эротический. Посадить Луизу на сцену в этом халате с расстегнутыми у живота и ног пуговицами и дать в руки альбом с фотографиями сухумских актеров. Чем не эротика? И совсем не обязательно задира́ть ноги и извиваться в бесстыдной пантомиме, убивающей эротику в упор.

Повозившись со шкафом, насквозь пропотев, я снова вернулся в гостиную и постарался не думать о Луизе. И снова уткнулся в альбомы. Вот Лео Чедия в роли Отелло. И опять Чедия в роли Акосты.

В ту пору, когда абхазы впервые подняли свой голос (насколько справедливый, судите сами), — живем, мол, на своей земле в качестве пасынков, я уже не жил в Сухуми, хотя и не терял его из вида. Чтоб как-то ублажить рассерженных аборигенов, Москва решила побаловать их орденами и званиями. На звание Народного артиста СССР абхазская труппа выставила своего кандидата. Но тут зашумели и грузины — а мы чем хуже? Дадим и вам, смилостивилась Москва. Тут уже были выдвинуты две кандидатуры, потому что грузины не могут без того, чтобы не подставить друг другу подножку. Превосходный реалист, актер широкого диапазона Миша Чубинидзе и манерный Лео Чедия. На это Москва ответила: сразу два звания жирно будет, давайте одного. И началась война. Весь театральный Сухум разделился на армию Чубинидзе и Лео Чедия. В центр пошли письма. Приверженцы Чубинидзе упирали на то, что Чедия годами находился вне театра, в то время как Чубинидзе не покидал коллектив в самые трудные минуты, когда старая труппа разваливалась, а новая еще не возникла. Что сыграл он большее количество ролей, что он принимал активное участие в общественных мероприятиях, что он, в отличие от Чедия, в



ряде ролей олицетворял образ коммуниста — человека новой формации, что он... что он... что он... Провели референдум среди актеров, но в дальнейшем его сочли недействительным, ибо решено было провести референдум с участием всего коллектива. В дело вмешалось Министерство культуры Абхазии, а вслед за ним грузинское министерство.

Ну что бы стоило союзному начальству расщедриться на два звания, тем более, что оба актера вполне его заслуживали. Но в том-то и дело, что все советские структуры и законы со своими параграфами были специально сконструированы таким образом, что, поощряя одного, унижали второго. На этом принципе держались все деловые связи.

Все перипетии этой провинциальной войны за звание «маршала театральных подмостков» происходили вдали от меня — в эту пору я уже давно жил в Тбилиси, и знаю о ней понаслышке. Само собой, что за полную достоверность описываемого поручиться не могу. Но насколько мне было известно, в орбиту этой войны был втянут и мой неугомонный герой. Гвасалиа, понятно, не принадлежал к числу страстных театралов, хотя изредка появлялся на премьерах и в числе прочих гостей бывал участником сопутствующих им банкетов. И конечно же он не мог остаться в стороне от развернувшейся при театре баталии.

Соперничество за звание приняло неприятный оборот. Поначалу, казалось бы, телеграмма Лео Чедия в официальные органы, в том числе и самые недоступные, положит конец этому оскорбительному для обоих актеров соперничеству. В телеграмме Чедия в категоричном тоне снимал свою кандидатуру. «Не нуждаюсь ни в одном вашем звании, — гласила телеграмма. — С удовольствием верну то, которое ношу уже более тридцати лет, — Народного республики — и предлагаю дать его тому, кто в нем нуждается. Меня же вполне устраивает мое Я. Лео Чедия».

«Еще один образец провинциальной спеси», — решила официальная Москва, несколько, впрочем, шокированная решительным тоном и словами «ваши звания». Подобного рода пассажи пресекались в ту пору на корню. Чедия вызвали в обком, где предло-

жили дать объяснения этой своей непродуманной вы-  
ходке.

Оказалось, что артист не в курсе дела. Ему показали текст злополучной телеграммы. Прочитав его, артист разразился гомерическим хохотом.

— Я не прочь подписаться под этим заявлением, но кто-то это уже сделал за меня!

В обкоме переполошились. Была дана директива найти виновного. Бросились на телеграф. Девушка, отправившая телеграмму, хорошо помнила отправителя в лицо — невысокий, в шляпе, при галстуке, с усиками, но кто он, не имела понятия.

К этому времени соответствующие органы уже хорошо знали, кто имел привычку посылать телеграммы в самые высокие инстанции. Однако в этот момент Жоры Гвасалиа в Сухуми не оказалось. Появился он в городе уже после того, как высокие звания — одно абхазской труппе и одно грузинской — были вручены.

— Можете переходить в спальню. Там уже подсыхает, — выросла в дверях Луиза с мокрой тряпкой в руках. И так же обыденно, между прочим:

— А этот бандит Гвасалиа правда ваш родственник?

Он был мне таким же родственником, как негр из Замбии или индеец из племени апачи. Но, несмотря на ссору, я не счел нужным разоблачать его до конца.

— Кажется... Очень дальний. Но почему бандит?

— А как назвать иначе. Носится с головой Бачи, и тут хочет извлечь пользу. Эти Бжалава обещали ему горы золотые, если он провернет махинацию с экспертизой. Но ведь надуют несчастного, ничего не дадут. А я тут же наличными отсчитаю ему восемьдесят тысяч.

Ничего себе — все восемьдесят. «Не надо мелочиться. Где восемьдесят, там и все сто!» — вероятно, ставил свои условия Гвасалиа.

— Даю, что есть. Даже не знаю, дотяну ли до осени, когда сад даст урожай. А ведь может и не дать, как было три года назад: ударили морозы, и мы с Бачи остались и без лимонов, и без мандаринов. Я

уже не говорю о фейхоа. Деревья высохли и пришлось выкорчевывать их.

— Он считает, что восемьдесят мало?

— Говорит, что этих денег не хватит даже на экспертов, чтоб им всем пусто было! А я, хоть убей, не верю, что он сдал голову Бачи в экспертизу. На улице еще вчера видели его с сумкой Гвади Бжалава.

— А может, даже и сегодня, — не выдержал я, вспомнив его утренний визит.

— Врет, врет без зазрения совести. Из десяти слов — девять сплошное вранье. Восемьдесят тысяч ему мало! Сам два последних года побирается на поминках. Как кто умрет, он уже тут как тут. Со слезами, состраданием на лице. Говорит, что потерял лучшего друга. Плачет, распоряжается, бегаёт заказывать гроб, берет организационную часть поминок на себя. «Я все закуплю сам, кричит, пусть это вас не беспокоит!» Видели бы вы, с каким важным видом он выносит покойников из подъездов. И всегда спереди несет гроб, чтоб все видели. Тем и живет. А если никто не умирает, то сам подыхает с голода. Примазывается к разным компаниям в ресторанах. В этих компаниях каждый может его опозорить, прогнать, оскорбить. «Сиди, кушай, но только не рассказывай, как ты писил на памятник Ленину». Этот его рассказ всем давно надоел. Несчастный, непутевый, одинокий. Я сама так его жалею, что каждый раз хочу сказать: приходи обедать ко мне. Но ведь расстрезвонит по всему городу, что я его любовница. У него очень грязный язык.

Я вспомнил про вчерашнюю тишину в гостиной, которая показалась мне подозрительной.

— Он набивается в любовники?

— Где уж ему, с него песок сыплется. А все хорохорится, строит из себя кавалера. Трех жен схоронил, бездельник. Два дома проиграл в зари!<sup>1</sup> Восемьдесят тысяч ему мало, бродяге. Да таких денег он сроду в руках не держал!

И вдруг мне стало обидно и досадно. За Жору. Я еле сдержал себя, чтоб не обхамить свою гостью.

— Вы ошибаетесь, Луиза. Он видел деньги и по-

---

<sup>1</sup> Зари — азартная игра в кости.

крупней этой суммы. Но Жора не жмот. Он тратил деньги с друзьями, пропивал все до последнего гроша. Вы тогда были маленькая, не помните, а я помню. Пол-Сухуми паслось на его поле. Он был уважаем в самых высоких кругах. Напрасно вы так. Может, ему сейчас трудно, но это не значит, что какие-то твари могут прогнать его из-за стола!

Мне почему-то вдруг стало очень жаль Жору Гвасалиа — одинокого, беспризорного. Другой на его месте давно бы опустился и стал бродягой. А у него хватает сил и мужицкой косточки заботиться о внешней опрятности и от души улыбаться, встречая знакомых. Я уже жалел, что прогнал его сегодня. До слез жалел. Где он сейчас болтается со своей сумкой в городе, в котором перестало работать метро, а чтоб сунуться в троллейбус или автобус, необходимо проявить максимум мужества и выносливости.

— Да, да, да, и я говорю, золотое сердце! — перешла Луиза на грузинский, и снова запахло Чхороцку. — Грязный язык, а сердце золотое. Я все понимаю, ему сейчас плохо, но ведь надо войти и в мое положение тоже. Откуда я ему возьму два миллиона?

На халате были расстегнуты все пуговицы. Я встал и заходил из угла в угол. Мой Ципо путался под ногами. Он не очень привык к генеральным уборкам и был немного растерян.

— Не пускай его в спальню, пусть подсыхает, — предупредила Луиза и, не меняя интонации, продолжила:

— Носится с этой головой, как с кочаном капусты.

— Луиза, милая, — я старался на нее не смотреть. — Какая разница, голова это или капуста? Голова, тело — все это брэнная плоть. На днях на экране компьютера я видел свою плоть: сердце, печень, селезенку. Это такая гадость! Главное — душа. Душа Бачи не подвластна экспертам и жуликам.

— Да ведь семья Бжалава не остановится ни перед чем, чтоб доказать, что я его убила. Они, если надо, миллионы вложат в это дело. Его брат, Гвади, это такая сволочь. Я, говорит, буду не я, если не до-

кажу, что ты его убила! Еще при жизни Бачи они убеждали его, что я потаскуха. А я не потаскуха!

— Только не говорите, ради Бога, что ни разу не изменили Бачи при жизни.

— Только ради дела, только ради дела, — уточнила она с трогательной поспешностью.

«Только ради дела». Кому же отдавалось это прекрасное создание природы ради дела? Начальнику милиции? Главному прокурору города? Тузам из партийного аппарата? Меня трогала ее непосредственность.

— Еще при жизни Бачи его родной брат, эта сволочь, дважды пытался меня изнасиловать. А как умер Бачи, вообще не вылезал из моего дома, пока я не вызвала милицию. Вот тогда-то он и пригрозил — докажу, что ты убийца! Вот его и правда убила бы, гниль эту! С удовольствием! Убедите этого жулика, чтоб согласился на восемьдесят тысяч. Последнее даю. Ну, была бы одна, все отдала бы, но ведь со мной девочка.

— Какая девочка?

— Дочка Бачи. От первого брака. Я сделала ее наследницей и беру на воспитание. — И только сейчас она заметила, что халат ее расстегнут. — Уй, уй! Предупредили бы хотя бы! — она поспешно застегнулась. — А сейчас в постель! Измерьте температуру. Я принесу вам туда обед.

Я совершенно обессилел от хождения туда и обратно, да и всего остального. Хватаясь за мебель, я перебрался с кресла к столу, оттуда к стулу, от стула к двери в спальню. Пол уже подсыхал. Пахло мокрым паркетом. И впрямь дышать стало легче. Ципо запрыгнул ко мне на постель и свернулся калачиком у ног. «Спасибо, родная страна», — произнес я по инерции и забылся в тяжелом сне.

## ДВЕНАДЦАТЫЙ РАЗВОРОТ

Еще не рассвело, когда позвонили в дверь. Я еле до нее доплелся. На пороге стоял Жора Гвасалиа, надменный и неприступный.

— Ключи, — произнес он официальным тоном и

протянул маленький ключик, продетый в стальное кольцо.

— Заходи, Жора. Как хорошо, что ты пришел! — искренне обрадовался я, вливая в голос как можно больше сердечности. — В холодильнике полно жратвы и выпивки. А за вчерашнее не обижайся. Это не я. Это моя болезнь, честное пионерское!

Я поцеловал его в щеку.

— Чтоб этого больше не повторялось, — предупредил Жора и нерешительно прошел в квартиру. — Такие, как...

— Знаю, знаю, — перебил я живо. — Такие, как Жора Гвасалиа, на улице не валяются.

— Температура спала?

— Не мерил два дня. Но, видимо, держится. И озноб не проходит. Да черт с ней, с температурой. Главное, что мы снова друзья.

— Эта шлюха была у тебя вчера — вижу, полчистый. Ну и как?

— Что как?

— Трахнул?

Я расхохотался.

— Сейчас самое время меня самого трахнуть.

Жора прошел в ванную, вынес мой халат и накинул мне на плечи. Потом он постелил себе на диване в гостиной и дал такого храпака, что я сразу догадался — ночь он провел на вокзале. Он проснулся только в двенадцать и прошел ко мне в спальню. Он был, как никогда, серьезен.

— А сейчас слушай внимательно. В шесть придет эта проблядь и я вручу ей голову ее благоверного. И чтоб без твоих капризов! Стань в конце концов мужчиной!

Последнюю фразу он прорычал с чувственным надрывом.

— Стану! Стану! Ну как — сошлись в цене?

Жора собрался что-то ответить, но передумал и только махнул рукой.

— Где наша не пропадала!

— Восемьдесят тысяч — неплохие бабки, — бес тактно заметил я.

— Да я достал этой выдре такую справку, что

за нее и миллиона мало, — он полез в карман, достал записную книжку, а из нее листок: — Вот!

— И что в ней написано?

— Что удар по загривку совершен два года назад и никак не связан с кончиной Александра Бжалава. Его имя по паспорту Александр. Да за такую справку она должна целовать меня в задницу! — возвысил он голос.

— Вот и прекрасно. Она же последнее отдает. А на руках у нее девочка, которую она сделала наследницей. Им же тоже нужны гроши, хотя бы до урожая.

— Какая девочка? — насторожился Жора.

— Дочь Бачи от первого брака, Майя.

— Когда она сделала ее наследницей?

— Две недели назад.

— Это точно?

— Точно, точно. Сама мне документы показывала.

Я все понимал. Сейчас в семье Бжалава он будет утверждать, что Луиза удочерила маленькую Бжалава по его настоящему требованию. Пусть докажут, что это не так. Удочерила официально, но оформила документы задним числом, если уж дело дойдет до уточнения дат. Бедный Жора, на что бы он рассчитывал, если бы не семья Бжалава, из которой он по капле высасывал соки уже много лет.

— Итак, я иду за сумкой. Если эта драная кошка появится раньше, ни под каким предлогом не выпускай.

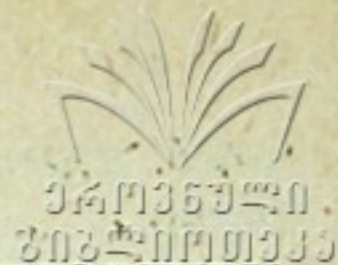
— А где сумка?

— На вокзале.

Я же говорил. Я сразу догадался, что он держал ее все это время в камере хранения.

Он ушел, уверенно хлопнув дверью. Я выпил на кухне чай. Перед тем, как лечь, взвесился. Стрелка остановилась на цифре 65. Кошмар! Если так и далее продолжится, то через две недели я уменьшусь до десяти килограммов. Интересно, как я при этом буду выглядеть.

## ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗВОРОТ



**В** начале шестого Жора ворвался в мою квартиру. На нем не было лица.

— Украли!

— Что украли?

— Сумку! Что же еще?! Считай, что у меня из кармана вытянули сто пятьдесят тысяч! Да я бы этих воругов пристрелил бы из автомата!

Он заметался туда и обратно.

— Это что происходит?! Человеку нельзя выйти в город, чтоб у него не украли сумку! Где намлулу? Это до чего же мы дожили! О тэмпора! О морэс!— сам Цицерон позавидовал бы сейчас силе патетики, с которой было произнесено это латинское изречение.

Он буквально пылал возмущением.

— Успокойся. Объясни толком — как ее украли? — меня разбирал хохот, и я приложил максимум усилий, чтоб казаться встревоженным.

— Украли, и все! С вокзала я дотащился до стадиона «Динамо»! Стал ждать троллейбус! А троллейбус провалился в преисподнюю. Нет и нет! Этого министра транспорта я бы отдал под суд!

— Ну а дальше?

— Перешел к газетному киоску. Хоть газету, думаю, прочту, месяц не заглядывал в прессу. Поставил сумку на асфальт, стал выбирать газеты, набрал штук пять и журнал. Киоскер посчитал — сорок семь рублей! Я буду не Жора Гвасалиа, если завтра же не подожгу его будку! За пять газет и два журнала — 47 рублей!

— Такие сейчас цены! Ну а дальше?

— Что дальше? Пока я выяснял, что и как, какая-то сволочь увела сумку! Осталось меньше двадцати минут до прихода этой обкомовской шлюхи! Что я ей скажу?!

— Скажи, что сумку не удалось вынести из экспертизы. Что вынесешь завтра.

— Да она сама попрется в экспертизу и узнает, что туда вообще не поступала ничья голова! Это такая пройдоха! Уверен, что она уколошила бедного Бачи! — он возвел глаза к потолку и изрек с интона-



цией провинциального трагика: — Царство тебе Не-  
бесное, мой друг! Прости за все, если можешь!

— Ради Бога, не паникуй. Придумаем что-нибудь.

— Что?

— Хочешь, отрежь мою голову, заверни в цел-  
лофан и тряпки...

— Мне не до шуток!

— Было бы у тебя две головы, одну бы сейчас  
пустили в дело...

— Не до шуток, говорю! — зарычал Гвасалиа.

— Побереги голосовые связки, — предупредил  
я. — Они и без того...

Но Жора меня уже не слышал. Он остановил  
свой огненный взгляд на бюсте Сократа и... Нет, это  
был уже не Жора Гвасалиа. Это был Петр Багратион  
в пекле Бородинского сражения, когда нужно в одну-  
две секунды принять единственно верное реше-  
ние.

— Кто это у тебя?

— Сократ. Помнишь: «Я знаю, что ничего не  
знаю», — я еле сдерживал хохот.

— Плевать мне на его изречения! — перебил  
Жора и взглянул на часы. Было без двадцати шесть.  
Жора, не снимая своих уже на ладан дышащих шти-  
блет, вскочил на кресло, схватил бюст, соскочил на  
пол и положил его мне на тумбочку.

— Молоток! Быстро!

Я вскочил с постели, вышел в переднюю и при-  
нес ему свой маленький альпинистский топорик. Жо-  
ра наклонил бюст и отбил у него снизу кусочек гип-  
сового торса. Получилось. И он осторожно, чтоб не  
раскололся весь слепок, стал отбивать кусочек за ку-  
сочком. Осталась одна голова.

— Быстро подмети все это, чтоб ни одна крош-  
ка не валялась на полу.

Я заторопился на кухню за совком и веником. Жо-  
ра тем временем кинулся к радиоле. Она, накрытая  
целлофаном, лежала на тумбе с колесиками. На цел-  
лофане были разложены косметические принадлеж-  
ности моей исчезнувшей подруги. Жора схватил ко-  
робку с гримом и вернулся к голове Сократа. Взяв  
за основу оранжевый грим и добавив к нему корич-  
невый и зеленый, он начал густо намазывать все это

на гипсовое лицо. Когда кончился оранжевый, коричневый и зеленый грим, он запустил пальцы в черный, желтый и красный. Голова Сократа почернела. Местами из черноты просвечивал синий цвет, местами красный и желтый.

— Клей! — подал команду Жора.

Пока я искал тюбик с «Моментом», он напихал в голову через отверстие снизу тряпки и старые газеты.

— А сейчас хватай ножницы и быстро обстриги своего пинчера!

— Как? Еще холодно... — растерялся я.

— Делай, что говорят!

Я поймал Ципо и ножницами стал состригать с его пышной шубки лохмы шерсти. Жора, выдавив клей на макушку к этому времени страхолудной гипсовой головы, начал обклеивать ее клочьями моей собачки. Ципо буквально на глазах уменьшился вдвое.

— Пусть докажет мне, что это не голова Бачи Бжалава! — с затаенным злорадством произнес он скорее для себя самого. — Пусть только посмеет!

Для пущей убедительности он пальцами на загривке гипсовой головы обозначил две полоски. Голову мы завернули в тряпки и сунули в черный целлофановый пакет. На кухне нашелся и голубой. В него мы положили черный с головой изуродованного Сократа. А сверху напялили еще два уже прозрачных пакета. Все это было вложено в мою красную спортивную сумку. И Жора принялся за ликвидацию «следов преступления». Коробку, из которой он выскреб почти весь грим, спрятал в шкаф под белье. Остатки шерсти Ципо с помощью веника он собрал в кучу и замел на совок. Это пошло в унитаз. Красная сумка водворилась в шкаф.

Обливаясь потом, Жора плюхнулся в кресло, чтоб перевести дух. И, словно дожидаясь этого мгновения, раздался звонок в дверь.

— Ложись в постель. Я сам! — бросил Жора и, выскочив в переднюю, захлопнул дверь.

Я лежал в постели и слышал голоса Жоры и Луизы, приглушенные стеной-багдадкой. «Все же странно, — думал я, — что эти люди, и он, и она, ни во что не ставят мою болезнь. А ведь положение, в ко-

тором я оказался, не сулило ничего доброго. Каждый занят своими корыстными интересами. Так устроена жизнь, будь она неладна. И когда-нибудь и для этой Луизы, и для Жоры Гвасалиа настанет час, когда окружающим будет в высшей степени наплевать, вырвутся они из лап смерти или нет. Вокруг будут стелать, суетиться, делать вид, что убиты горем, а между тем у каждого на уме будет свой маленький, меркантильный, шакальный интерес. И никто патетически не воскликнет:

— О, Сократ, обиднее всего, что ты умираешь невиновным!

В дверь постучали. Вошла Луиза Пачалиа. Она даже не удосужилась раздеться. Как была в плаще и шляпке, надвинутой на глаза, так и осталась.

— Добрый вечер.

— Ага!

— Как здоровье?

— Лучше не бывает.

Луиза оглядела комнату.

— Где она?

— В шкафу. На третьей полке.

Она открыла левую створку шкафа и остановила взор на красной спортивной сумке.

— Там?

— Разверните и посмотрите.

Она влезла рукой в сумку и пощупала завернутую тряпками и целлофаном голову Сократа. Потом прикрыла створку шкафа и села в кресло.

— А помните Рамишвили? О! Это был великий актер! — произнес я, поддельваясь под ее вчерашний тон и не отводя от нее злющих глаз.

Она поняла иронию и ничего не ответила. Оглядела комнату и, остановив взгляд на шкафе, спросила:

— А куда девался старик? Вчера он стоял на шкафу, и я протерла его тряпкой.

— Сократа попросила девушка-соседка. Она готовится в Академию художеств и ей нужны гипсовые фигуры...

— Рисует их?

— Не кушает же.

— Леван, что означает ваш резкий тон? Я вас чем-нибудь обидела? — спросила она по-русски.

— Напротив, вы навели чистоту, принесли чудесный мед. Просто я... болен. Вот и все.

— Он не наговорил вам обо мне всяких гадостей?

— Да нет... он уважает вас.

— Как он может кого-нибудь уважать, не уважая себя самого. Но об этом больше не надо... Он не советует мне отвозить голову Бачи в Сухуми. Говорит, что эти Бжалава снова откопают могилу и пошлют голову на экспертизу уже в Москву.

— Не исключено.

— Вы ему сказали, что я удочерила девочку Бачи?.. Напрасно. Теперь он растрезвонит всем, что это его заслуга.

— Вам-то что?

— Леван, милый, могу я вас побеспокоить?

— Можете.

— Дело в том, что Жора советует закопать голову в Тбилиси. Через дорогу от вашего дома — Дигомское кладбище. А перед ним — пустырь. Помогите мне закопать голову на пустыре.

— Почему Жора не может этого сделать?

— Я понимаю, вы больны, вам не до этого... Но я не доверяю Жоре. В любой момент он может приехать сюда с гнилым Гвади и указать место, где закопана голова.

Конечно, это он мог бы.

— Только с вами, — повторила она.

— Выйдите, я оденусь.

Я оделся и вышел в гостиную. Жора подал на стол крепко заваренный чай и розетки, наполненные медом. Я включил телевизор. Луиза делала вид, что ее заинтересовали новости. А меня они правда заинтересовали. Но новостей не было. Повторялось все то же, что изо дня в день: война в Карабахе, перестрелка в Приднестровье, кровавый конфликт в Осетии, грызня на сессии Верховного Совета России, землетрясение в Турции, расовые беспорядки в Лос-Анжелесе, террористические акции в Лондоне, взрывы в Индии, извержение вулкана в Сицилии, смерч и ураганный шквал на Филиппинах, военный переворот в Перу. И всюду жертвы, жертвы, жертвы. Мир,

воистину, взбесился, встал на дыбы в преддверии великого Апокалипсиса. Так чего же цепляться за жизнь, разводить философию вокруг своего ухода. Как это у Ницше? — Умирайте легко, друзья мои. Так и надо — легко и просто, и не делать из этого трагедию.

— Я думаю, что вам лучше всего выйти из дома в десять. В одиннадцать начнется комендантский час, и мало ли что! — изрек Жора на этот раз с видом Кутузова, проводящего военный совет в Филях. — За час вы управитесь.

— Как там на улице? — спросил я. — Моросит?

— Пустяки, — ответил Жора и, не глядя на Луизу, произнес официальным тоном: — Я думаю, что самое время рассчитаться.

— Только после того, как голова будет закопана! — по-мегрельски возразила Луиза.

— Здрасьте, я ваша тетя! — скорчил нахальную морду Гвасалиа. — Какая у меня гарантия, что вас по дороге не сцапает патруль? — И тоном, не допускающим возражений, добавил: — Деньги на бочку!

Луиза открыла сумку. Я думал, что она сейчас выгребет кипы ассигнаций. Ничего подобного. Она вынула пачку «Уинстона» и зажигалку. Щелкнула зажигалкой, затянулась, пустила струйку дыма.

— А у меня какая гарантия, что в сумке лежит голова Бачи?

— Открой и посмотри, — не моргнув глазом, ответил Гвасалиа.

— Не советую, — подал я голос.

Луиза не торопилась расставаться с деньгами. Затушила сигарету в пепельнице, допила чай, досмотрела программу «Новости».

— Тормозишь! — заметил ей Гвасалиа.

Она полезла куда-то за пазуху, под джемпер и шлепнула о стол пачкой свеженьких ассигнаций достоинством в тысячу рублей. Купюры были перехвачены розовой ленточкой. Небрежным жестом отодвинув эту кипу к Гвасалиа, сказала:

— Считай.

Жора принялся за дело. Отсчитав семьдесят пять ассигнаций, он приставил друг к другу обе кисты и,

убедившись, что они одинаковы — миллиметр миллиметр, остановил счет, положил одну кишу на вторую и отодвинул от себя влево.

## ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РАЗВОРОТ

Ровно в десять я и Луиза покинули квартиру. Я нес в руке красную сумку. Лопату, которую мы захватили с собой, она спрятала себе под плащ.

На улице моросило. Вокруг — ни души. Мы вышли к трассе. Тут тоже не было никого. Разве что одинокие автомобили. Перешли трассу, поднялись по лесенке к пятачку, откуда начинается кладбищенская ограда, и тут же свернули вправо — на пустырь. Когда я говорю пустырь, то читатель, видимо, представляет нечто вроде поля. Тут не было никакого поля. Под откос вверх расползались тропинки. Тут и там громоздились гранитные отвесные скалы. А по ту сторону скал зияли овраги и овражки. Выбирать укромного места не пришлось. Все они были укромными.

Остановившись возле отвесной скалы, чтоб было обо что облокотиться, я отложил в сторону сумку и взялся за лопату. Однако силы меня подвели. Их не хватало ни в ногах на то, чтоб воткнуть металлическую лопату в землю, ни в руках, чтоб выгрести ее. А тут полило, как из ведра.

— Да кто же так копает! Дай мне! — выхватила у меня лопату Луиза и сама было принялась за дело, но я вырвал из ее рук рукоятку. Какая-то странная злость охватила меня.

— Не подходи близко, я сам все сделаю, — прорычал я и, собрав последние силы, воткнул лопату в землю. И выгреб, наверное, килограмма три. Но запатался. И выпустил лопату. Луиза копала, как профессиональный землекоп. Видать, натренировалась у себя в цитрусовом саду. Изредка я ее заменял. И тогда она рукой выгребала землю из ямки.

Я промок с ног до головы. Хорошо еще, не забыл нахлобучить кепку.

Наконец яма в метр глубиной была выкопана. Луиза вынула из сумки гипсовую голову, завернутую

в тряпки и погруженную в целую пачку целлофановых пакетов, и прижала к груди.

— Прощай, мой Бачи! — голос ее дрогнул. Глаза наполнились слезами.

Я сочувственно похлопал ее по спине.

— Да пошел ты! — вдруг окрысилась она и с такой силой пихнула в грудь, что я, как мокрая тряпка, плюхнулся на землю. Решение, которое я принял внезапно, было безумно. Вскочив и вооружившись лопатой, я с грозным видом пошел на нее, и изо рта моего поперла отборная матерщина. Никогда раньше я так не зверел. А если и зверел, то всегда находил в себе силу воли обуздать лютость. Три судимости за злостное хулиганство в то время, когда хулиганства не было и в помине, хоть это было очень давно, выработали во мне инстинкт не обострять ситуацию до взрыва. Во имя будущего. Но сейчас будущего уже не было, и все те горькие пилюли обид, которые я проглотил за жизнь, помutilи разум.

— Курва ты вонючая! — это было самым невинным из того, что я произнес.

Я ткнул ее лопатой в плечо. Она выпустила из рук завернутую в пакет гипсовую голову, и та покатила под откос. Сграбастав Луизу за шиворот, я развернул ее спиной к себе и вдавил ее в гранитный выступ...

## ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗВОРОТ

Когда мы, грязные, заляпанные землей, вернулись к дому, выяснилось, что лифт не работает. Я побрел к соседнему корпусу, где находилась диспетчерская, но тут никого не было. Пришлось ползти пешком. Мы были на третьем этаже, когда я пополз уже на карачках. И дополз до пятого этажа. Силы были исчерпаны. Она, обхватив меня за голову и приподняв ее, три этажа волокла по лестнице. И тоже выбилась из сил. Уложив меня на промежуточной площадке, Луиза продолжила восхождение одна. Через минут двадцать она появилась вместе с Жорой. Жора осветил меня фонариком и распорядился:

— Ты за ноги, я за голову.

Их было двое, и все же путь до шестнадцатого

этажа показался длиною в год. Меня раздели, вытерли и уложили в постель. Из-за стены я слышал голос Жоры. Он с кем-то разговаривал по телефону от соседей. Разум мой помутился, и все остальное я видел и слышал, как в беспокойном предсмертном сне.

Комната наполнилась людьми в белых халатах. Мне сделали укол в зад и второй — в вену.

— Держись, Челидзе! Держись! — время от времени орал Гвасалиа, не жалея голосовых связок.

Потом слышались и другие голоса. Я разобрал голос брата, голос дочери, голоса соседей. Но и они постепенно слились в единый гул, а глаза застлала темнота.

Все — вихрь! Все — движение! Но куда? Земля, не считая вращения вокруг своей оси, описывает эллипс вокруг Солнца со скоростью 40 километров в секунду. Но это не все. Вместе с Солнцем и всей его системой она несется в океане Космоса, оставляя за собой вечную мглу и погружаясь в новую мглу, чтоб озарить ее на мгновение и устремиться дальше. Галактики отдаляются друг от друга со скоростью света, разлетаются, как осколки взрыва. Куда все же несется эта громадная машина мироздания? Какой смысл в этом непрекращающемся движении, а если и в этом нет смысла, то в чем же он есть вообще?

Я читал брошюру — «Жизнь после смерти». В ней рассказывается, что испытывали люди, пережившие клиническую смерть. Сначала темнота, потом впереди показывался просвет, словно бы ты находишься в туннеле. Просвет все увеличивается, и ты выходишь на чудесную, залитую солнцем поляну. И встречаешь своих близких, но таких, какими они были в лучшие годы своей жизни.

И у меня пошло все точно по этому сценарию. Вероятно, мозг, почерпнувший из книжки последовательность событий, запрограммировал ход мыслей. Я миновал туннель и увидел ярко освещенный сельский пейзаж. В глубине — домик дачного типа. Но чтоб до него дойти, надо миновать лужайку. В зеленой траве тут и там светятся снежной голубизной незабудки. И вот я уже вижу, что у забора стоит мой отец — молодой, беспечный — и машет мне рукой — сюда,



мол, сюда. А рядом с ним вдоль забора стоят какие-то люди. По мере приближения я начинаю угадывать их лица. Таня Барсукова в белом сарафане с мальчишеской прической — веселая, беззаботная. Василий Константинович Гунцадзе — осанистый, с тростью в руке и пенсне на носу. А рядом с ним жена — Нина Михайловна Вачнадзе с просветленным лицом монахини. Артист Лео Чедия сидит на корточках и, хитро улыбаясь, пощипывает зубами стебелек травы. Рядом еще кто-то — маленький, как карлик, в простой одежде, с носом, как баклажан. Да это же старичок-армянин, которого я однажды видел на базаре. Он продавал картошку.

— Гнать вас пинками! — пригрозила ему домохозяйка.

— Нас погоните, кто картошку будет выращивать? — миролюбиво спросил старичок. Оказывается, и он тоже уже перебрался «туда».

За забором генерал Михako Вачнадзе почему-то в одном исподнем, с окладистой бородой, заложив руки за спину, ходит туда и обратно. Все свои. Но мне в первую очередь надо Василия Константиновича Гунцадзе. Я уже приготовил слова, с которыми к нему обращусь. Я скажу ему, чтоб он не носил в себе ненависти к бывшему зятю Гвасалиа, чтоб он простил его, потому что он, если что и натворил дурного, то делал это не со зла, что этот жулик Гвасалиа, по сути дела, не делал ничего, не угодного Богу: не отравлял атмосферу выхлопными газами автомобиля, не поднимал вместе со всеми руки на партийных и комсомольских собраниях, не подкапывался к чужим должностям, любил угощать друзей шампанским, а если и сам угощался за их счет, то только потому, что не имел денег; не нес с верноподданническим изворотом головы на демонстрациях палок с прикрепленными к ним портретами Маленкова, Молотова, Брежнева и прочих «вождей», а то, что поднял на ноги весь ресторан, чтоб провозгласить тост за память Лаврентия Берия, то сделал это из желания внести свой хулиганско-патриотической диссонанс в пресную муть коммунистического бытия. А, главное, что он все эти годы, несмотря на то, что имел ряд жен, любил Таню, любил, по его собственному выражению, «безум-

но-безрассудно», и сердце его принадлежит ей одной. Я собирался все это сказать, но уже видел по благо-  
стному лицу Гунцадзе, что он давно простил Гвасалиа и даже скучает по нему, прохвосту.

И вдруг забор и люди стали отдаляться. Вскоре я снова очутился в темном туннеле. Словно бы вагонетка, на которой я стою, помимо моей воли, повернула обратно и сейчас со стремительной скоростью неслась назад. Но вот она остановилась и понеслась к выходу — на свет. И уже вновь показалась вся компания у забора и старый Вачнадзе в одних кальсонах и нижней рубашке со скрещенными за спиной руками. Но на этот раз я приблизился к ним не так близко, как в первый раз. И опять вагонетка покатила обратно в туннель. И так повторялось несколько раз. Я болтался между «тем» светом и «этим», и тот, кто управлял вагонеткой, никак не мог окончательно решить, в какую сторону держать путь.

Первое, что я увидел, когда проснулся, был Ципо. Ну и обкорнал же я его накануне! Он стал величиною с курицу. Лежа в ногах, он вскинул голову и внимательно смотрел мне в глаза.

— Кажется, проснулся, — услышал я за дверью голос дочери.

В комнату прошли брат и дочка и с любопытством посмотрели на меня.

— Ну как? — спросил брат.

— Вроде бы температуры не чувствую.

Он протянул мне термометр.

— Куда ты ночью выходил? Пришел весь заляпанный грязью.

— По делу.

— Какое может быть дело! Ты знаешь, что вчера тут было три «неотложки»! У тебя остановился пульс.

— Знаю. Я уже побывал «там».

— Ну и как?

— Благодать. Расскажу когда-нибудь.

Я уже собирался просунуть ноги в ботасы, но брат и дочь замахали руками.

— Ты куда? Лежи, лежи. Вчера чуть не умер!

Термометр показывал классические 36,6.

Я поднялся только на третий день. Посмотрел на

себя в зеркало. И понял по глазам, что болезнь ушла, испарилась.

Но ушла и испарилась лишь та легкомысленная и быстротечная болезнь, которая колебала температуру моего тела. А другая болезнь — неизлечимая — еще глубже проникла в организм и заполнила все его клетки. Болезнь эта называется «вперед — в никуда!», и никому из смертных не суждено ее избежать. А та, что давала высокую температуру, — пустяк! Она могла исчезнуть даже и потому, что Луиза вымыла пол. Но, скорее всего, причина была в другом — Жора и Луиза бесцеремонно вытолкали меня в гущу жизни с ее изменными страстями и крутыми разворотами, и инерция жизни, которая так глубоко засела в организме, взяла верх над силами воспалительных процессов. Кроме того, если бы я отдал концы, моему Ципо просто некуда было бы деться, и это тоже сыграло существенную роль в моем выздоровлении. Оказывается, когда прибыла «неотложка» (третья по счету), он завыл и своим воем переполошил всех, кто меня окружал.

Я стал в боевую стойку перед зеркалом и провел серию ударов по воздуху. Красота! Я снова легковес! Подавайте мне Эрика Геловани, я разделаюсь с ним в первом же раунде.

Собачка моя весело запрыгала вокруг.

Время мое не пришло! Приблизилось, но не пришло!

Через три дня после того, как я встал, приехал брат. Он позабыл мне вручить конверт, который для меня оставил Гвасалиа. Я его распечатал. Двадцать ассигнаций достоинством в тысячу рублей (ого! Как кстати!) и записка. Я быстро пробежал ее:

«Оставляю на поминки. А если все же выкрутишься (помнишь, как тогда с Геловани), потрать их в ресторане, где есть шампанское. Лучшего применения ты им все равно не найдешь. Всегда твой Жора Гвасалиа».

Я передал записку брату.

— Это самое умное из того, что он изрек за свою жизнь, — одобрил брат.

— Ты его плохо знаешь, — не согласился я.

И мы отправились искать ресторан, где подают шампанское.

## ПРЕДПОСЛЕДНИЙ РАЗВОРОТ

Кто это сказал: — «Один сонет должен быть одним сонетом»? Кажется, Бетховен. А раз так (так! так!), самое время поставить заключительную точку в нашей повести, добавив, быть может, две-три туманные фразы, которые призваны будут ввести в заблуждение незадачливого читателя в том смысле, что в повести сказано несколько больше того, чем в ней сказано на самом деле, и это «больше» проникает в глубины великой тайны мироздания. Я сам долгое время был мастером подобных липовых размусоливаний, пока великий Гашек не вразумил меня, что даже длиннющий роман можно оборвать на полуслове, и что совсем не обязательно искать в нем тот высший смысл, которого в сущности и нет, а уместнее удовлетвориться теми сюжетными перипетиями и характерами, которые налицо.

Но вся беда в том, что после описанных мной событий в жизни героя повести произошел еще один завиток. Этот завиток довольно-таки любопытный, и я решил его рассказать в ущерб симметрии.

Дело в том, что в первых числах июля я по почте получил конверт из Сухуми. В нем лежал приглашенный билет. Развернув его, я прочел:

«Третьего июля Союз художников и Театральное общество Абхазии приглашают Вас на персональную выставку работ художницы Татьяны Барсуковой Гвасалиа. Спонсор вернисажа Жора Гвасалиа».

Я и моя собачка на следующий же день седьмого июля махнули в Сухум. В девять утра мы сошли на станции Бараташвили (раньше эта станция очень мило и кстати называлась «Минутка», потому что поезд останавливался тут ровно на минуту) и двинулись по влажному асфальту главной улицы к центру.

Я не помню, чтоб в эту пору в Сухуми на улицах было так мало людей. Тем более, на главной улице. Видимо, погода. Но, конечно, не только она. Изредка попадались женщины с зонтами. Волоча босую

грязную ногу, мимо проплелся бродяга без роду-племени. Я шел вдоль ограды Ботанического сада. Сердце ныло. На перекрестке я увидел трехэтажный дом, в котором жил с родителями. Вот и наши два балкона на втором этаже. Кто там сейчас обитает — какой политический деятель, какой борец за сосуществование?

Рядом со мной бодро вышагивал мой Ципо.

— Вот тут когда-то я жил, — сообщил я ему.

Он не среагировал. Жил, так жил. Какое это может иметь значение сейчас? Никакого! А если так, то нечего распускать нюни. Иди своей дорогой.

Первым, кого я встретил из знакомых, был долговязый и облезлый энтузиаст из местного телевидения. А может, из любительской секции кино. Я так до конца не понял, кого именно он представляет. Он привозил мне на рецензию сценарий некоего Пачкориа, накалякавшего душещипательную муть. Это я понял по первым же страницам. Однако сам Пачкориа был уверен, что сотворил шедевр, и так запугал местных редакторов (гробы из своих домов будете выносить, если не примете!), что те решили препроводить его творение опытному драматургу (тоже мне — нашли опытного!), с тем, чтоб гробы выносили из его дома. Ввиду того, что в квартире я проживал один, понятно, чей гроб предстояло выносить. И вот этот долговязый и облезлый энтузиаст приволок ко мне творение воинственного Пачкориа (чем человек бездарнее, тем он воинственнее), ввел в курс дела и пришел за ответом, когда я уже лежал в постели.

— А у вас имеются средства, чтоб отснять полнометражный фильм? — спросил я.

— В том-то и дело, что никаких средств, — ответил энтузиаст, оскалив гнилые зубы.

— Что же вы тогда волнуетесь? Пусть Пачкориа сам найдет средства и сам же снимает фильм.

— Как мы раньше не догадались! — хлопнул себя по лбу посланник солнечной Абхазии и, пожелав мне скорого выздоровления, покинул мою квартиру вместе со злополучным сценарием.

И вот я встретил этого жизнерадостного люмпена возле летней филармонии. Такое часто случается — приезжая в какой-нибудь город, первым встреча-

еешь именно того, кого видел в последний раз. Я не избежал пламенного рукопожатия холодных и липких рук.

— Ну, как ваш Пачкориа? Нашел спонсора?

— Сразу двух! — оживился облезлый оптимист. — И уже приступил к съемке фильма. Я у него в ассистентах.

— А ты, дурочка, боялась, — улыбнулся я, и мы распрощались на этот раз без рукопожатия.

Но вдруг одна мысль промелькнула в моей голове, и я окликнул его:

— Гена, — крикнул я наугад. — Твоя фамилия, если не ошибаюсь, Цумба.

— Не ошибаетесь, — оскалил он гнилые зубы и весело помахал рукой.

Вот тебе и на! Выходит, что Гвасалиа и не думал брать, когда говорил, что встретил на вокзале недоноска из филармонии, и тот оповестил его о моей болезни. Однако это вовсе не означает, что Гвасалиа не умеет врать. Врет он на каждом шагу, но разобраться в том, где врет, а где говорит правду, нет никакой возможности. И в этом его феномен.

Вернисаж открывался в одиннадцать, и у меня было в запасе два часа, чтоб немного погулять. Ципо был не против.

Мне казалось, что новый город, непривычная обстановка, пальмы, эвкалипты, море и все прочее произведут на Ципо хоть какое-то впечатление. Ничего подобного! Он, как и в Тбилиси, обнюхивал траву; если она попадалась, лихо задира л заднюю лапку у каждой пальмы и, увидев кошку или собаку, неважно — большую или маленькую, суку или кобеля — до того натягивал поводок, устремляясь к ней всем своим существом, что я с трудом удерживал его на месте. Что значит молодость — поистине чудесная пора!

Возле бывшего кинотеатра «Апсны», а ныне Грузинского драматического театра, промелькнуло три-четыре актера. Что они актеры, я догадался по внешности и повадкам, хотя ни разу не видел их на сцене. В гордом одиночестве прошел мимо Народный артист СССР Михаил Чубинидзе. Внешне выглядел он молодцом, но по отчужденному остекленелому взгля-

ду я понял, что высокое звание не принесло ему полного счастья. А он так на него рассчитывал. Я был рад, что он меня не узнал.

Я вышел на бульвар, завернул налево и остановился перед громадным бассейном. В нем амфитеатром расположились каменные драконы. Из их пастей обычно бьет струя морской воды. Сейчас драконы отдыхали. Насос был отключен. За драконами возвышалось строение Абхазского драматического театра. В свое время в этом здании уживались три труппы: абхазская, грузинская и русская. Тон задавали грузины. Во время войны, совсем еще маленьким, я с родителями жил в помещении этого театра. Окна нашей комнаты выходили на море. Потом театр сгорел. Новое здание возводили пленные немцы, и отец вместе с хозяином Абхазии тех лет каждую неделю навещался на строительство. Их сопровождали архитектор, инженер и прорабы, и отец уточнял с ними отдельные детали. Я на правах мальчика путался под ногами. Уже спустя несколько лет после того, как отец перебрался в Тбилиси, абхазская труппа выдворила из театра грузинскую труппу, которой и было предоставлено помещение в бывшем кинотеатре «Апсны». Не знаю, как его оборудовали, но помню, что это был длинный, как кишка, зал (кстати, на его сцене я провел ряд боев), не приспособленный к театральным представлениям. Обидно, что так произошло. А все — политика и политиканы, бездари позорные, карьеристы!

Вернисаж был устроен в частном доме доктора Ф. Я облегченно вздохнул, увидев всего несколько посетителей. Посреди просторной залы на стене, задрапированной черным бархатом, висел портрет Татьяны Барсуковой, но, конечно, не тот, который при случае вынимал из записной книжки ее бывший супруг. На фоне зимнего пейзажа стояла девушка с покатыми плечами, скрестив руки у живота. На голове — белая пуховка. Серьезное умное лицо. На этом снимке она казалась даже некрасивой. И весь вид ее как бы говорил — вот, какая есть. Я подумал, что такой она предстанет перед Всевышним. Под портретом стоял маленький столик. Он тоже был покрыт черным бархатом. На нем в отдалении друг от друга

лежали гипсовые слепки рук художницы. Я не видел их с детства. Аристократические руки с удлиненными пальцами и красивой формой ногтей. В пальцах застыл нерв.

Я прикоснулся к этим гипсовым кистям своими корявыми пальцами с траурной каймой под ногтями. Насколько мне помнилось, один из этих слепков был захоронен с отчимом художницы, второй—с матерью. Неужели Жора Гвасалиа выкопал могилы, чтоб получить слепки? Впрочем, у него имелись деньги, чтоб поручить это черное дело землекопу. Где-то из соседней комнаты раздавался гул голосов. Среди них громче всех звучал голос Гвасалиа. Я заглянул туда.

Человек десять представительных гостей вернисажа с Жорой Гвасалиа во главе, стоя, окружили стол. На столе стояли бутылки шампанского и бокалы. На трех тарелках было разложено бесчисленное количество бутербродов с финской колбасой. И хоть ананасов не было и в помине, для нашего голодного времени стол можно было расценить, как роскошный.

Среди гостей находились две дамы: крутобедрая красноволосая интеллектуалка с хищным оскалом, лет за 50, и молодая, густо на помаженная блондинка, пустоту глаз которой вдвое увеличивали стекла очков. Интеллектуалка подкреплялась бутербродом. Челюсти ее работали, как мельничные жернова.

По седым лохмам одного из грузных гостей я догадался, что он скорее всего живописец. Впрочем, и все прочие, судя по внешности и повадкам, принадлежали к элитарному миру искусства. Жора в светлом костюме, при галстукe, с белым платочком в кармашке, подняв наполненный шампанским бокал, произносил тост. Вернее, трепался. Но делал это с присутствующим ему темпераментом и значительностью:

— Сам Лансере называл мою Танюшу чароде-ем акварели!

Кто-то из гостей, характеризуя работы Барсуковой, употребил слово «гуманизм». Жора поморщился и категорическим жестом велел ему замолчать.

— Ненавижу это затасканное слово! «НАМЛУЛУ»! Как говорили наши праотцы!

Не знаю, имелось ли «намлулу» в словаре наших



предков, или его придумал сам Гвасалиа. Одно было ясно — Жора пускал пыль в глаза своей образованностью.

## И ПОСЛЕДНИЙ РАЗВОРОТ

Я вернулся в зал и стал разглядывать акварели. Аккуратно окантованные, они были развешаны на трех стенах. На четвертой, обрамленной черным бархатом, висел портрет художницы. Большинство из работ мне были знакомы с детства. Но сейчас я смотрел на них уже иными глазами — глазами человека, которому вынесли приговор.

Смелые, размашистые акварели, и ни тени красоты, сусальности. Угол двора с опрокинутой бочкой и лоханью, подвешенной на облупившейся стене. Арба, колеса которой месят проселочную грязь. На переднем плане — два черных бородатых буйвола, в нежных глазах которых застыла извечная покорность всем тяготам судьбы. Костер на опушке леса и люди, стоя греющиеся у костра. Пламя выхватывает из темноты их суровые обветренные лица. Портреты людей из народа: спившийся бродяга, старый еврей, в раздумье скосивший глаза, девушка, читающая книгу, пожилой человек в задумчивости смотрит на шахматную доску. Я повторяю — никакой голубой лирики, никаких озер с белыми лебедями в пруду. В свои юные годы Барсукова, еще неосознанно предчувствуя скорую кончину, заглянула в жизнь глубоко, в самое нутро.

Собачка моя, запрыгнув на один из мягких стульев и положив головку на вытянутые лапки, косила в мою сторону свои умные глазки. Акварели не вызвали у нее интереса. «К чему все это? — думал мой песик, — когда за дверью — на улице жизнь сама на каждом шагу предлагает нам чудесные жанровые сценки, портреты и пейзажи». По-своему он, конечно, был прав. Тем более, если учесть короткий собачий век. А мне, как человеку, глядя на акварели Татьяны Барсуковой, становилось понятным, чем эту воспитанную барышню мог пленить мерзавец Гвасалиа. В нем было много жизни с ее пороками, страстями,

разворотами, и этим самым «намлулу», которым швырялся он, когда хотел сбить человека с толку или блеснуть эрудицией.

— Ты что это, заглянул и выскочил, — услышал я бодрый, хрипловатый голосок человека, стоящего за спиной. — Пошли, я тебя представляю.

— Жора, я посмотрю работы... Ты сделал очень интересную выставку.

— Интересную? — окрысился Гвасалиа и начал заводиться. Глаза его налились кровью. — Да ты прочти, что написано в книге впечатлений! — Он взял меня за руку и рванул к столику, на котором лежал объемистый альбом, схватил его и стал листать страницы. — И главное, кем написано. Вот, пожалуйста, Казимир Патампсис. Народный художник Литвы. «Подлинным шедевром вернисажа был небольшой карандашный рисунок «Портрет матери»... Или вот, смотри, что пишет Февральский. «Восхищен сдержанной палитрой юной художницы»... Тут и Рубцов из Гродно. Да почитай, почитай! — он расходился все больше и больше. — Мне запретили проводить Танюшу в последний путь, но Бог видит, кто из нас всех больше любил Таню и терзался ее ранней кончиной! Я собрал выдающихся деятелей со всего СНГ и даже прибалтов подключил. В «Абхазии» уже напечатана статья Самуила Рубина. Сам Кедрин обратил внимание — с тростью и седыми локонами, — обещал поместить статью в «Культуре»! — И тут он сжал кулаки и сделал свирепое лицо. — А не напишет, я уши ему поотрезаю, — целую неделю гуляет за мой счет и еще имел нахальство выписать любовницу из Ростова.

— Тише, нас могут слышать! — предупредил я.

— А плевать мне, слышат или нет! Слова ничего не значат. Все живут в люксах «Рицы» за мой счет! Билеты сюда и обратно — за мой!

Передо мной стоял безумец с налитыми кровью глазами.

— Я подниму такой бум вокруг картин Танюши, что превращу каждую из них в национальную ценность!

Умерив пыл, он продолжил:

— Надеюсь, понял мой маневр, я приписал к ее

фамилии свою. Ну, кому сейчас в Грузии нужна Барсукова? Барсукова-Гвасалиа — совсем другое дело.

— Было бы еще лучше, Барсукова-Вачнадзе, — заметил я.

— А ты, как твой отец, умрешь, если не укусишь.

Гости вернисажа с аппетитом уничтожали бутерброды с финской колбасой, а в бокалы с шампанским запускали ломтики льда. Мое появление осталось незамеченным. Никто и не думал обсуждать работы Татьяны Барсуковой. Говорили о чем угодно — о погоде, о ценах, о былых временах.

— Я помню Сухум пятидесятых годов, — не переставая жевать бутерброд, безапелляционно разглагольствовала эрудитка с красными волосами и крутыми бедрами. — Это был праздник в полном смысле этого слова! Праздник улыбок и красоты. Сегодня это захоlustье. Могу ли я это простить Горбачеву?

Видя, с каким несокрушимым остервенением она уничтожает бутерброды, то и дело запивая их шампанским, я представил, с какой жадностью в те далекие пятидесятые годы она поглощала дары этого щедрого города: море, солнце и все остальное. И словно бы в подтверждение моим мыслям, интеллектуальная дама ударилась в откровенность.

— В этом благословенном городе меня лишили девственности. И пошло! И завертелось! На крыше гостиницы «Абхазия!» Прямо на бульваре! С милиционером, который не знал по-русски ни одного слова, на ночном пляже! Один артист в экстазе чуть не откусил мне нос. А потом и он, и его жена, и чуть ли не вся труппа завалили меня подарками, устроили в разгар лета в люкс гостиницы; баловали, как могли, лишь бы я не пожаловалась в милицию!

В ее взволнованной исповеди я опустил глагол, который она произносила в своей грубой первозданности раз десять. Чувствовалось, как ей приятно было его произносить. Но, по-моему, она преувеличивала. Фраза, завершившая ее тираду, отдавала неискренностью.

— Когда я думаю о том, что это больше не повторится, мне хочется выпить стрихнин.

Мужчины, видимо, привыкшие к подобного ро-

да излишням, в знак того, что они отдают должное ее эмансипации и экстравагантности, улыбнулись, хотя и вяло. Но как я, бывший сухумец, мог оставить без внимания столь пламенное признание.

— Не надо терять надежды! — посоветовал я довольно уверенно, чувствуя, как в каждое произнесенное слово, помимо моей воли, вкладывается специфический сухумский акцент.

Однако мой внешний облик особенной надежды, видимо, не вселял. Она взглянула на меня тускло и произнесла:

— Да что вы в этом смыслите.

— Такая финская колбаса в Москве стоит пятьсот рублей за кило, — заметил живописец с седыми локонами.

— Уже восемьсот, — деликатно поправил мужчина с густой коричневой челкой и морщинистым лицом. По-моему, на нем был парик.

Вот такие разговоры!

В комнату с доброжелательной улыбкой хозяйки вошла Луиза Пачалиа с большим подносом, на котором лежали все те же бутерброды с колбасой.

— Угощайтесь, господа, пожалуйста, — сказала она и вдруг увидела меня. — Леван!

Она положила поднос на стол и бросилась ко мне. Поцеловала в щеку.

— Ну и напугал ты нас. Как себя чувствуешь?

— Живой, — улыбнулся я грустно. — Как вы тут?

— И мы, как видишь, живые... Но...

Она отвела меня в сторону и шепнула:

— Совсем сошел с ума.

— Кто? — не понял я.

— Да Жора, Жора Гвасалиа, — и она, переходя на грузинский, зашептала скороговоркой: — Наприглашал гостей со всей страны, с оплатой гостиницы и проезда. На кой черт они сдались, обжоры ненасытные! А один из них — Кедрин, вон тот, с седой косичкой, привез и любовниц. Все спустил. И снова влез в долги.

— Неужели все?

— Все, все. Снимает в гостинице люкс, за который платит девятьсот рублей в день. Я уже и к себе

его приглашала, пусть трепится — все равно никто не поверит, а он... «Джентльмены живут в отелях!» — передразнила она Жору довольно точно и комично, подчеркнув безапелляционность и гонор.

— Я вижу, ты неразлучен со своим Ципо. Иди-ка сюда, собака.

Она протянула песику ломтик финской колбасы. Ципо понюхал его и очень деликатно взял в зубы.

— Не то что эти ненасытные, — по-грузински сказала Луиза, имея в виду знатных гостей. — В три часа будь у причала. Этот шизофреник устроил морскую прогулку с шампанским.

— А ты будешь?

— Куда там мне! Мне обед надо делать. Вечером вся бригада приглашена ко мне в дом на «мегрельскую кухню». Ты одерни его — поговори по-мужски. Пусть отправляет всех обратно! Пусть наконец-то остановится.

Я подумал и сказал:

— Пусть уж лучше несется. Иначе ему крышка.

— Куда несется? — не поняла Луиза.

— В никуда.

Луиза простилась со мной до вечера. Я еще некоторое время потолкался среди амбициозных гостей и прошел в коридор. Как подсказывала интуиция, в его конце за углом должен был находиться туалет. Так оно и было. Я толкнул дверь ногой и... Мой «ближайший родственник» со спущенными штанами сидел на унитазе и похрапывал. Сейчас он был похож на глубокого старика. Впрочем, что значит похож? Ведь Жора по возрасту мог быть участником Отечественной войны, а про таких в Москве, завидя их у прилавков магазина, куда они пробиваются вне очереди, размахивая зеленой книжицей, с удивлением восклицают: — Вы еще живы? «Джентльмен», — усмехнулся я и прикрыл дверь.

В три часа дня к дощатому причалу был подан катер. Я и Ципо стояли у крутых каменных ступенек, сбегających полукругом с обеих сторон на причал. Принимать участие в морской прогулке с почетными гостями я не собирался, но деваться было некуда, и мы вышли к морю. Над морем висел туман.

Вскоре раздались голоса, и из-за зарослей олеандров появилась вся шайка-лейка с Гвасалиа во главе.

— Диоскурия расположена на дне вот этой самой бухты. В хорошую погоду с самолетов, а то и с лодки, в прозрачной воде видны развалины крепостного вала, колоннады и арка. Тогда здесь хозяйничали греки. Да кто только здесь не хозяйничал!

Тут он выдал такое, что вся группа задергалась в хохоте.

— И только с 1-го апреля 1921 года с установлением Советской власти начался подлинный расцвет Абхазии.

Он знал, что говорил, рассчитывая именно на комичный эффект, и был вознагражден сполна.

— Разрешите вас поцеловать в губы! — не скрывая восторга, вызвалась красноволосая искусствоведка.

— Только после того, как мы выпьем на брудершафт! — оградился от поцелуя Гвасалиа.

Я слышал, как один из гостей — тот, что был в парике, бросил невзначай второму:

— Не знаю, как насчет акварелей Барсуковой, но этот Гвасалиа просто душа.

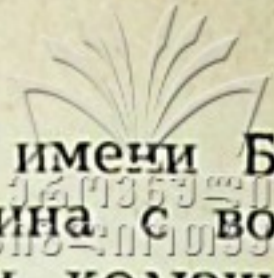
Я и Ципо, как только на бульвар вывалилась группа гостей, ретировались в кусты олеандров, и Жора нас не заметил. Да и не до нас ему было. Он был центром внимания, очаровывая гостей остроумием и несокрушимым оптимизмом.

Вскоре катер вышел в море и растворился в тумане.

Я и мой песик побрели по набережной к порту. На набережной было пустынно и сыро. Мимо прошли три подростка в военной защитной форме с автоматами.

В летнем павильоне была занята всего одна стойка — двое подростков распивали бутылку водки.

И вдруг в поле моего зрения бросилась старая клеенчатая сумка, потерявшая цвет и форму. С одной ее стороны было написано «Сделано в СССР». С другой кто-то наклеил вырезку из картона — «Ади-дас». Ну конечно же, это была та самая сумка, которая в марте была водружена на гардероб моей спальни и в которой я обнаружил распухшую и по-



синевшую голову скромного человека по имени Бачи Бжалава. Сумку нес невысокий мужчина с волчьим лицом. Сутулый, с низким лбом и колючим взором, он целенаправленно шагал по тротуару, обмозговывая, как мне подумалось, очередную мерзость.

Не отдавая себе отчета, я как замороженный пошел за ним следом. Хотел было окликнуть, но вовремя спохватился. Откуда тут взялась эта сумка? Неужели Жора Гвасалиа врал, когда в панике сообщил мне, что сумку украли. А может, и правда украли? И сделать это мог брат Бачи Бжалава, Гвади, выслеживая его по пятам. А то, что несущий сумку именно им и был, я уже не сомневался ни капли. И ради этого хищника я под градом летящих в меня камней преодолевал шестиметровую сетку. А он даже не счел нужным оповестить создателя катрекса — моего любимого Алика — о своем исцелении. Однако, вполне вероятно, что он действительно ничем не болел, а катрекс был нужен другому человеку, и Гвасалиа, пронюхав, что Алик — мой друг, не упустил случая погреть на этом руки. Допустимы десятки вариантов, но попробуй, разберись в них, когда имеешь дело с Жорой Гвасалиа.

Я шел за человеком, несущим знакомую мне до мелочей и так в свое время напугавшую меня сумку, и еле сдерживал в себе желание схватить его за шкирку и потребовать, чтоб он показал ее содержимое. Но что бы это дало? Да и вряд ли в ней сейчас все еще находилась отсеченная голова человека, оставившего при жизни весьма и весьма приятное впечатление.

— Ципо, поедем в Тбилиси? — спросил я собачку.

— А куда нам еще деваться! — уверенно ответил песик, завиляв обрубком хвоста.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

**В**ы действительно решили, что на этой минорной ноте я закончу свой рассказ о Жоре Гвасалиа? А тем более, при условии, что наша крошечная планета вместе с машиной мироздания мчится неизвестно ку-

да и с какой целью? И все же я верю в наивысшую цель нашего пребывания на этой земле!

А потому в заключение рассказа я вновь делаю скачок на ту знаменитую Первомайскую демонстрацию, подлинным героем которой стал герой моей повести. Хотя информатор парада провозгласил два-три раза, что подлинным героем праздника является великий советский народ.

Подвыпивший Жора в компании местных гуляк околачивался неподалеку от трибуны и слышал эти воззвания.

— Они герои? Они? — недоумевал он, вытянув указательный палец в сторону браво марширующих перед трибуной демонстрантов. Одни из них несли знамена, другие портреты Брежнева и людей из его окружения. При этом все делали верноподданническое равнение направо, в сторону чопорной провинциальной верхушки, заполнившей сбитую из досок трибуну. И акцентировали шаг.

Вовсю сияло щедрое майское солнце. Запах мимозы и олеандров дурманил сознание. Неподалеку от того стартового отрезка, откуда колонны демонстрантов уже напрямую выходили к месту смотра, суетились всевозможные физруки и военруки с рупорами в руках.

— Приготовились! — кричал в рупор один из них. — Взяли себя в руки! На лицах улыбки. Бодрый шаг! Равнение направо! Шаго-ом — марш!!!

Грянул духовой оркестр, и колонна устремилась вперед. Физрук, припадая на правую ногу, не отрывая рупора от рта, кинулся за колонной. И вдруг, увидев что-то «не то», закричал что есть сил:

— Гвасалиа, прочь! Держите Гвасалиа!

Но было уже поздно. Гвасалиа, держа в руке палку с прикрепленным к ней кружком, с портретом Суслова, бодро шагал впереди колонны физкультурников педагогического института. Свободной рукой он приветствовал людей на трибуне. Но вдруг, резко изменив направление, устремился к монументу Ленина. Палку с портретом Суслова он держал теперь под мышкой. Он сразу стал центром внимания, словно бы загипнотизировав мужчин на трибуне.

— Остановите его! Остановите! — кричал муж-



чина с рупором, и тут же сам, припадая на правую ногу, помчался следом. Оркестр в полную мощь играл победный марш. Жора перешагнул через две ступеньки, остановился перед пьедесталом, расстегнул ширинку брюк... и пустил мощную струю. Неприятный холодок пробежал по замершим сердцам людей, находящихся на трибуне. Хромой физрук схватил его за руку. Жора повернулся и изменил направление струи в его сторону — не мешай, мол. Чтоб и тот не стоял без дела, Жора сунул в руки палку с портретом Суслова. Физрук машинально взял ее в руки и, не зная, как быть дальше, высоко поднял. Гвасалиа орошал пьедестал. Казалось, это продолжалось целую вечность. Струя, сбегав со ступенек, выкатилась на мостовую. Физрук с рупором в одной руке и палкой с портретом Суслова в другой помчался за ней и преградил ботинком дорогу на середину мостовой. Но тут же образовалась лужа. Жидкость обогнула ботинок и ручеек помчался дальше, делая причудливые зигзаги. А Жора все стоял у пьедестала. Струя, которую он изливал на темный мрамор, весело поблескивала на солнце. Однако всему прекрасному рано или поздно приходит конец. Струя начала сокращаться. И вскоре иссякла.

Жора застегнулся и бодро зашагал на мостовую. Смешавшись с новыми колоннами демонстрантов, он вскоре пропал из вида.

А оркестр все играл и играл!

Инцидент у монумента в один миг облетел весь город. Тут и там раздавались взрывы гомерического хохота: — на набережной, на бульваре, в кофейне на пирсе и в другой — у колоннады в центре. Возле бассейна с драконами в окружении молодых артистов, принесших весть о случившемся, раскатистым баритоном и от всей души хохотал Лео Чедия. Физрук с рупором, который он все еще держал в лихорадочно дрожащих руках, с пеной у рта рассказывал об инциденте в кофейне возле кинотеатра «Сухуми».

— По наглости он чемпион мира! Это разве человек! Это животное!!!

В ответ раздался хохот.

«Животное» делось неизвестно куда. И только под вечер его не крупная по размеру, но довольно

колоритная, я бы даже сказал, импозантная фигура объявилась в ресторане «Рица». Стоя посреди зала, подлинный герой Первомайского торжества (о его проделке, конечно же, знали все посетители ресторана) держал в руках наполненный шампанским фужер и декламировал любимое стихотворение Северянина, несколько вольно обращаясь с известным текстом.

Задержать его прибыл сам министр МВД Абхазии с группой захвата. Войдя через буфет в зал, он остановился как замороженный. Один из помощников включил магнитофон, чтоб зафиксировать шумовой фон (о, он так иногда бывает нужен на следствии) в момент задержания опасного государственного преступника. И магнитофонная лента записала:

— Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо, остро...

Весь я в чем-то мегрельском, а быть может и сванском

Открываю штаны и берусь за перо.

Министр МВД, а за ним группа захвата уже двинулись к «изменнику родины», и поэтому тот с первого куплета перепрыгнул сразу на третий, не забывая придавать тексту местный колорит:

— В группе девушек нервных, в остром обществе дамском

Я трагедию жизни превращу в преферанс...

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!


Из Зугдиди в Пицунду, из Сухуми на Марс!

Ему заломили руки, надели наручники, вывели через служебный вход на улицу и воткнули в правительственный «ЗИЛ». Те, кто находился в этот момент поблизости, утверждают, что Жора во время всей этой процедуры продолжал вдохновенно декламировать, и даже из машины, двери которой захлопнулись, раздавался его хриплый уверенный голос:

— Ананасы в шампанском! Апельсины в Тибани!

Хорошо после бани по бутылке на нос...

Многие тогда решили, что для Жоры Гвасалиа это уже окончательная крышка. Но не прошло и пяти лет, и он вновь, уже став знаменитостью, появился в городе, насквозь пронизанном солнцем. Уверен,




что и сегодня рано списывать его в архив. У него осталось про запас два-три разворота. И пусть они будут такими же неожиданными и элегантными, как в тот вечер, когда в переполненном ресторане «Рица» он исполнял свое знаменитое танго с роскошной блондинкой.

Примечание:

Слово «НАМЛУЛУ» в 3-м тысячелетии до н. э. у шумеров (а имеется зыбкая версия, что шумеры — предки иберийских племен) обозначало понятие человечности, гуманизма и еще того, что спустя несколько тысячелетий удивительный русский писатель Фонвизин выразил в сакраментальном призыве: **«Имей сердце, имей душу и будешь человеком во всякие времена!»**

1993 г.



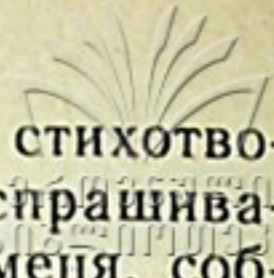
## ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

### Спаси твоих живых усопших!

Поройся в памяти  
и найди там давно забытого и потерянного.  
Искусственное дыхание быстро наполнит его легкие  
воздухом воспоминаний,  
и он разговорится (как когда-то),  
встанет и пойдет (как прежде),  
и засмеется и расскажет тебе  
свои старые небылицы.  
Уйти от него ты можешь, лишь убедившись,  
что ты уже проложил к нему путь в своей памяти,  
и что вскоре, вернувшись,  
позволишь ему взглянуть на сегодняшний мир  
с высоты полета твоей фантазии, словом:  
он должен жить в тебе до тех пор,  
пока жив ты сам.  
Ах, как много лежит их на кладбище твоих  
воспоминаний,  
и как ждут они своего воскресения.  
Так возьми же лопату, копни осторожно  
и найди эту жизнь!

### О СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ

**Я** живу в маленьком стихотворении. Вначале читатели почти не посещали, и я бы сказала, не оценили его, поэтому довольно долго я жила в нем в полном спокойствии и достатке. У меня есть здесь все: реальный хлеб, реальное вино, реальные фрукты и даже реальная козочка, которую я могу доить. Время от



времени приходит поэт — создатель этого стихотворения. Он осведомляется о моем здоровье и спрашивает, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь еще. Но меня, собственно говоря, интересуют лишь новости из внешнего мира.

— Ну что, они все еще ищут меня? — каждый раз с любопытством спрашиваю я.

— Естественно, — каждый раз отвечает он, — все время. Но здесь, в моем стихотворении, ты в полной безопасности. Здесь тебя не найдет ни одна душа.

— Ну как ты, освоилась уже? — как-то спросил он.

— Да, — кивнула я.

И тут же он сообщил мне с довольным видом:

— Хорошо, а теперь не забудь: на днях я приду сюда с твоим первым читателем, и все уже будет зависеть только от тебя.

Я снова кивнула ему и сказала:

— Не беспокойтесь, господин Директор, э... господин Поэт! Ваши читатели будут удивлены.

Через некоторое время он появился с первым читателем. Этот тщедушный очкарик, семенивший ножками по дорожке, усыпанной гравием, критиковал все: прекрасные пальмы, восход солнца, переливающуюся всеми цветами радуги лужайку стихотворения. Все ему было не так, казалось вычурным и, как он выразился: «лишенным глубокого читательского животворного смысла».

«Ага, ты, значит, литературный критик, ну погоди, дружок!» — с яростью подумала я.

— Пойдите-ка, — обращаясь к гостю, достаточно громко сказал поэт, для того, чтобы до меня дошли его слова и я успела бы подготовиться к визиту. — Вы еще не видели главного в моем стихотворении. Пожалуйста, пройдите сюда! — И с этими словами он провел этого претенциозного посетителя мимо поэтического кустарника прямо ко мне.

Я стояла совершенно обнаженная под цветущим деревом и жевала яблоко.

— О! — полуиспуганно, полувосхищенно (больше восхищенно) воскликнул критик. — Что или <sup>кого</sup> <sup>вы</sup> еще здесь насочиняли? Но погодите, это же... — Но он не смог закончить фразу, ибо я быстро подошла к этому беспокойному человеку и нежно притянула его к себе.

— Что за стихотворение! — пролепетал очарованный читатель. — Такого сюр... сюрреалистического я в жизни еще не читал. Ах, как прекрасно, как божественно, какое волшебство!

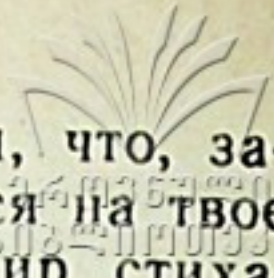
Вскоре его навязчивость мне надоела, и, отстранившись от него, я исчезла в заросшей лесом тени стихотворения. Долго еще раздавался зов ищущего меня критика. (Сейчас, кстати, я постоянно слышу ищущие меня голоса читателей, которых стало бесконечное множество.) Да, на сегодняшний день наше стихотворение котируется очень высоко. Оно продается по самым высоким ценам, и мой поэт заработал на нем кучу денег. Я же смертельно устала от всего этого и сыта по горло от постоянно глазающих и лапающих меня читателей.

— Ну потерпи еще немного, — успокаивает меня Поэт, когда я, уже не вытерпев, пожаловалась ему. — Ты что, хочешь улизнуть, когда наше стихотворение уже стало всемирно известным? Еще годик или два, и ты сможешь уйти отсюда в реальный мир с порядочным реальным состоянием. А там, из этой гнилой прозы, ты легко состряпаешь прекрасное стихотворение.

А как по-твоему, дорогой читатель, должна ли я верить этому плуту?

## О СОХРАНЕНИИ БЛАГОТВОРНОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ

**И** сказало однажды лирическое Я своему читателю: «Без тебя наш стихотворный мир, наша печальная жизнь была бы совершенно невозможной. И никто из нас — людей из стихотворного мира, не хотел бы быть рожденным, точнее говоря, сочиненным, если ты, о всемогущий Бог, не бросал бы время от времени



своего взгляда на нас. К тому же мы знаем, что, закончив нашу лирическую жизнь, мы вознесемся на твое милосердное небо — в твой благодатный мир стиха, где наше избавление и увековечение будет платой за все разочарования и муки нашей неудавшейся лирической карьеры. Вот поэтому я и не ропщу на мою жизнь».

Когда читатель услышал (прочитал) эти слова, его затрясло от страха и смущения. «О, небо! — думает он в растерянности. — Этому лирическому Я кажусь я Богом, в то время как я — только лишь его читатель. Что же делать? Сказать ему правду? Нет, невозможно. Расстояние слишком велико, и лирическое Я просто не услышит меня, а если даже и услышит и поверит мне, то потеряет весь смысл своей жизни-чтения. Нет, пусть оно продолжает себе думать, что к нему приходит Бог, всякий раз, когда над его стихом парит лишь реальная голова читателя. И если уж в этом смысл его жизни-чтения, то пусть будет это его вечным заблуждением».

## ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ БЕССЕРДЕЧНОСТИ

На обочине дороги своего крохотного, состоящего всего из нескольких строф поэтического мира, стоит, поеживаясь от холода, лирическое Я и выпрашивает любовь у проходящих мимо читателей. Но оно их не интересует, и обычно они не обращают на него никакого внимания. Лишь некоторые из них (в реальной жизни это вполне солидные и порядочные люди) бросают непрочтенному Я пренебрежительные взгляды и слова. Другие же язвительно смеются, когда бедное лирическое Я снимает шляпу и начинает попрошайничать.

— Любить тебя? Тебя еще читать? — спрашивают они с презрением. — Ишь, чего захотел!

— Но тогда же я умру, — всхлипывает лирическое Я.

— Ну и умри! — с издевкой говорят бессердечные читатели. — Нам от этого всем будет легче! Ужасно, не правда ли? Но что поделаешь! Эстетика ведь не этика!

## ЖИВОТВОРНАЯ ТЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ

Мы — садовники в том уголке поэтического мира, где начали увядать драгоценные розы известных авторов,

а также гиацинты, прекрасная сирень, ландыш и другие лирические виды цветов.

Все эти растения состоят из читаемого вещества.

Они живут, когда их читают.

Катастрофическое падение читательского интереса к этому изящному поэтическому искусству грозит великолепным цветам засухой и смертью в некоторых областях поэзии.

Там, где цветочек понурит свою головку, мы своим чтением вновь поднимаем ее, и он выпрямляется.

Там, где у цветка уже опали все листья, мы читаем его, и из его стебля вновь вырастают новые (зеленые) лепестки.

И там, где оно утратило все свои краски, мы, читая, вновь возрождаем его.

И чтобы после нашего ухода на поэтических клумбах и лугах больше не увядали растения, мы запускаем в поэтическое небо искусственные головы читателей (это — воздушные шарики-читатели).

Они бросают спасительную (читательскую) тень на всю жаждущую своего прочтения флору.

И сразу же каждый лирический росток начинает думать, что он читается, и поэтому распускает свои лепестки, оставаясь навеки цветущим в своем стихотворении.

(В отличие от реального мира, где растения питает солнечный свет, цветы из стихотворного мира распускаются лишь при наличии достаточного количества читательской тени.)

Наша хитрость удалась на славу, и вы себе представить не можете, скольким стихотворным садам мы таким образом сохранили жизнь (чтение).



## ДО ЧАСА ДЕВЯТОГО



Лишь только потому, что приближался  
девятый час, Он просил,  
чтоб чаша сия Его миновала.

Глубокая, темная ночь окутала сад.  
Дремлют соратники. Что-то  
никого не видать. Неужели небо  
все мирным путем разрешило?

Но тут забряцали доспехи. Голоса  
стали громче, и копыта сверкнули  
пред входом. И понял Он:  
Ему простится.

### СВОЕВРЕМЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КНИЖНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

Место действия: Евангелие от Матфея, Вифлеем.  
Время действия: За день до начала избияния младенцев.

За городские ворота выкатывается скрипящая повозка. В ней сидит закутанная по самые глаза женщина. Повозку толкает мужчина. Он спешит. Это Иосиф и Мария — библейские персонажи. На коленях у женщины — маленькое, спящее божество — ее реальное и библейское дитя. Они бегут в Египет.

Одновременно с ними из того же пункта, только в противоположную сторону, под крики и щелканье кнутов отправляется караван повозок с мужчинами и женщинами с детьми в возрасте до двух лет. Впереди — проводники из администрации книжного мира. Это реальные персонажи и испытанные следопыты, хорошо знающие дороги между различными и отдаленными друг от друга библейскими областями. Они сопровождают караван эмигрирующих родителей с детьми в Евангелие от Луки. Дело в том, что в нем не описана сцена избияния младенцев в Вифлееме, и маленьким беженцам в историко-библейском плане не грозит смертельная опасность.

## ВРЕМЕННАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА



Недавно у нас была проведена самая прекрасная и разумная из всех реформ — временная земельная реформа.

На сегодняшний день распределено все жизненное пространство, и каждый из нас является владельцем временного участка, который можно обрабатывать по своему усмотрению.

С довольным видом вожу я свое перо (это мой плуг) по листу бумаги. Строки, которые я пишу, представляются пахотными бороздами в моем времени.

И когда приходит лето и поспевают урожаи, я везу его на моей тележке в город: к моим читателям. Там, на свободной распродаже книг, выясняется, чего стоят мои собственные слова и смогу ли я существовать за счет читателей.

## НА КРЕСТЕ СОЗЕРЦАНИЯ

Два прекрасных человеческих образа из картинного мира с беспокойством вслушиваются в непривычный для них шум. «Неужели нам хотят всучить новую раму?» — со страхом вопрошает себя мать под непрерывный тяжелый стук молотков и дикий визг пилы.

«Вероятно, ремонтируют галерею», — успокаивает она своего малыша и снова дает ему грудь. Но дитя не берет ее, оно кричит (беззвучно, широко раскрыв ротик, — так, как могут кричать лишь младенцы из картинного мира). Оно плачет (незаметно, бесслезно влажными глазками — так, как могут плакать лишь дети из картинного мира). Безудержно бьется оно на коленях у своей святой матери (движения детей из картинного мира так быстры, что их не может заметить реальный человеческий глаз).

«Что же делать?» — с ужасом думает мать. И так как ей с каждым часом становится все более душно и неуютно в ее тяжелом золотом обрамлении, мечтает она очутиться в Египте.

Тут подходят новые посетители. «Они... — думает она, цепенея от ужаса. — Они... лишь смотрят на

нас. Они абсолютно не верят в нас! О, Боже, — шепчет она. — Прочь из этой рамы! Прочь из этого картинного мира! Помоги, Спаситель! Здесь нас лишь созерцают! Нас больше не воспринимают!» И сверх-картинно-человеческим усилием пытается она вместе с младенцем отвернуться от этих равнодушных созерцателей. Но не может, потому что ее заданно-тематическая поза картинного мира не подлежит изменению.

Так и висят они там сегодня: покинутые, непонятые, — распятые равнодушным созерцанием. И не видя иного выхода, она мужественно приняла мученичество; не смущаясь взоров посетителей, кормит грудью свое дитя, и — как говорят — хочет взрастить его хотя бы в этом картинном мире.

### ЧИТАТЕЛЯМ СПАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Из стихотворного леса выбегает дрожащий, смертельно бледный читатель. В изнеможении опускается он на скамейку, стоящую у больших ворот, и вытирает платком мокрое от пота лицо.

— Что с вами? — спросил его сидевший рядом привратник, поедая бутерброд с колбасой. — Вам плохо?

— Я чуть было не погиб, — тяжело дыша, хрипло произнес читатель. — За мной погнался ужасный дикий кабан. Ваше стихотворение представляет собой опасность для жизни-чтения, сударь. В нем живут агрессивные, дикие звери. Я буду жаловаться на вас!

— Хм, — ухмыльнулся привратник. — Интересно мне знать, какие это звери напали на вас?

— Вначале меня в щеку ужалила пчела, — в бешенстве произнес читатель.

— Но пчелы это не дикие животные.

— Да, но если они живут в стихотворении и жалят читателей, то они дикие, — все больше распаляясь, кричал читатель. — Где это видано, чтобы пчелы из стихотворного мира так докучали читателям!

— Все зависит от читателя, — пожимая плечами,

сказал привратник. — Кто у нас себя плохо ведет, того могут покусать пчелы.

— Я вел себя вполне мирно, — обиженным тоном произнес читатель. — У вашей пчелы не было повода...

— Хватит! — оборвал его довольно резко привратник. — Постыдились бы, что такое укус стихотворной пчелы для читателя!

— А кабан! — негодуя закричал читатель. — У этого хряка, гнавшегося за мной, торчали огромные клыки, доложу я вам! Весьма вероятно, это было реальное животное, а вы даже и не знаете, что оно у вас там обитает. Да, а еще и змея. Вы слышите? Гремучая змея, которая, извиваясь, поползла на меня. Такие приключения, сударь, будь то даже лишь впечатления, — вомутительны. От страха читатель может получить инфаркт и погибнуть в вашем стихотворении. А так как вы здесь ответственное лицо, то именно вам и придется отвечать за все это.

— Я полагаю, вас вначале ужалила пчела, — не обращая внимания на слова читателя, спокойно произнес привратник. — Верно?

— Да!

— А затем появилась змея, и вы отскочили от нее, так ведь?

— Да, — поколебавшись немного, признался читатель.

— А затем уже за вами погнался дикий кабан, не так ли? — невозмутимо продолжил привратник.

— Именно так! — в ярости закричал читатель. — И вы хотите назвать это чтение удовольствием?

— Нет, — ответил почти дружелюбно привратник. — Но во всем, что с вами случилось, винить вы должны только лишь себя.

— Как это? Винить себя? Вы что, с ума сошли? — поразился читатель.

Но тут привратник вновь повысил тон:

— Да, вы все это заслужили! Вы заснули в нашем стихотворном лесу и, пожалуйста, не отрицайте этого. Вы не первый, с кем это произошло. Вы же заснули в нем, не правда ли?

— Да, — смутился читатель. — Я действительно подремал пару минут. Но у вас к этому все располагает: вечернее настроение, заходящее солнце, лесная тишь... Вот я растянулся на лужайке и задремал, пока эта пчела...

— Вы оскорбили природу стихотворного мира. Для нее нет ничего худшего, когда читатель засыпает на ее лоне. Она, сударь, даже в ночное время не терпит спящих читателей, и чем сильнее их восторг в лесу, тем миролюбивее она и благодарнее по отношению к своим читателям. Но если кто-нибудь заснет в лесу, тому... — на этом привратник прервал свою речь и указал читателю на щит перед входом в стихотворный лес. — Вот, прочли бы, прежде чем входить в лес, что здесь написано. Это как раз для таких болванов, как вы!

Читатель посмотрел на плакат и прочел: «Просим всех читателей в нашем стихотворном лесу не сорить, не разводить костров и не спать. Несоблюдение этих правил поведения грозит каждому посетителю опасностью для чтения и даже для жизни!»

— Но это предписание — попрание читательских прав! — после короткой паузы раздраженно заявил читатель. — Где живет автор этого стихотворного леса? Я ему покажу, как вывешивать такую чушь!

— Я и есть автор, — спокойно ответил ему привратник. — Ну что вы мне хотите показать?

— Ага! — вырвалось у читателя. — Вы это сейчас увидите! — И он с угрожающим видом двинулся на стоящего перед ним человека.

Но в это время, грозно зарычав, поднялась сидевшая рядом с автором стихотворения огромная овчарка, и перепуганный читатель поспешно ретировался.

## ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ В СТИХОТВОРНОМ МИРЕ

Сейчас в этом осеннем стихотворном пейзаже дует ледяной ветер. Почти все лесные звери попрятались по своим теплым норам, и все короче и туманнее становятся с каждым часом стихотворные дни.

По заиндевело́й траве стихотворных лугов, дрожа от холода, кашляя и проклиная все на свете, торопясь, идет читатель. «Вот не повезло! — в отчаянии думает он. — Конечно же, я должен был потеплее одеться для этой проклятой стихотворной прогулки. Взял бы на худой конец дождевик. Но в прологе этой поэтической области было все так по-летнему: кроны деревьев блестя под ярким солнцем, и цветы искрились в своем разнообразии на дорогах и склонах поэзии».

Да, наш читатель вышел погулять босиком, в тренировочных брюках и майке. Он шел, посвистывая, был бодр духом и в чудесном настроении. Вдруг, совершенно неожиданно для него, произошла перемена стихотворной погоды.

Сейчас же он спешит, стуча зубами от холода, через все стихотворение и проклиная себя за глупость: ну можно ли так беспечно отправляться на прогулку. Он мог, по крайней мере, осведомиться заранее о прогнозе погоды в стихотворном мире, и тогда наверняка с ним не произошло бы этого несчастья. Ну, вот, он уже чувствует, как у него поднимается температура. Боже! Как же выбраться отсюда, не подхватив гриппа или воспаления легких? А если пойдет дождь или выпадет снег и замерзнет земля? Не найдет ли он тогда здесь свою неизбежную читательскую смерть? Боже упаси!

## У МОГИЛЫ ОДИССЕЯ

**М**ы стоим у могилы Одиссея. Она находится на Итаке — острове из мира поэзии — и представляет собой холм с мраморной стелой, на которой его имя начертано большими греческими буквами. Одиссей умер глубоким старцем, где-то через 40—50 поэтических лет после того, как им были уничтожены женихи в его собственном доме. Затем он совершил еще много подвигов, прекрасней и дерзновенней тех, которые воспеты и сегодня известны во все времена. Во всех этих подвигах мы участвовали инкогнито (реальные служащие поэтического мира невидимы и неосязаемы для ее непосредственных персонажей).

К сожалению, о последующих подвигах сына Лазарта мы ничего не можем рассказать нашему читателю, так как они существуют лишь в неопиcанной форме — имплицитно, вне всякой гекзаметрической действительности — в тексте «Одиссеи».

И когда, покидая могилу Одиссея, мы вновь возвращаемся в эту действительность, из нашей памяти бесследно исчезают приключения, происшедшие с ним позже, и все остается таким, как будто дальше ничего и не было.

И как не хватает нам еще одного великого сказителя, продолжившего бы песнь о судьбе героя с тех дней и до этой его могилы — до его читательско-жизненного конца.

Но где же найти второго Гомера!

Перевод с немецкого Тенгиза КАРБЕЛАШВИЛИ

---

## ЖИЗНЬ И ТЕКСТ

### ГИВИ МАРГВЕЛАШВИЛИ

**Ж**изнь Гиви Маргвелашвили сведена, за редкими исключениями, к одной форме существования — созданию литературных и философских произведений. Жить — означает, по сути, для него — писать, создавать текст. Нет, он не считает, что писательство единственно достойный жизненный удел, просто уж так сложилась его судьба, ограничив возможное пространство творческой активности территорией письменного стола, с ежедневной многочасовой работой, изнуряющей в той же мере, в какой она доставляет радость, то есть — свидетельство о жизни: пишу — живу.

Как заметил один его собеседник, «у Гиви первой погремушкой в колыбельке была, по-видимому, пишущая машинка». Если же говорить серьезно, то нельзя, конечно, сказать, что Гиви Маргвелашвили был с детства обречен стать писателем — он мог быть актером, музыкантом или... Впрочем, неизвестно, кем бы он мог быть — все перспективы его взрослой жизни были перечеркнуты в тот весенний вечер, когда пришли за его отцом. Нет, совсем не так, как описывают и вспоминают теперь о подобных визитах в эпоху террора, когда входят с каменно-равнодушными физиономиями и ордером на арест... Тогда пришли с улыбками и приглашением на праздник. Оказалось, однако, — приглашение было ловушкой, приманкой, заманивающей из одной [английской] зоны жизни — в другую.

Это произошло в 1945 году, в Берлине, — в городе, в котором родился Гиви, учился в гимназии и слушал на вечеринках с одноклассниками веселую музыку свинга. И вот из мира классической гимназии с ее обязательной латынью и древнегреческим восемнадцатилетний Гиви был переброшен (в прямом и переносном смысле слова) в иной мир — бетонного бункера Берлинской комендатуры, мир с иными нравами и языком (грузинские и русские эмигранты, собравшись по несчастью, пересказывают ему на немецком и французском языках содержание песенок, анекдотов и разнообразных нелитературных выражений из сокровищницы русского уголовного фольклора).

В этом новом мире для Гиви Маргвелашвили есть только одна возможность существования как человека, культурно-исторического существа — смотреть и мыслить. И с того самого времени он живет по преимуществу как наблюдатель, как зритель театра этой реальной жизни — такой неуютной для него, в которой он не может обрести не то что комфорт, но даже некоторую минимальную обеспеченность быта (и сейчас не идет у него из крана в ванной горячая вода — или, напротив, хлещет из лопнувшей батареи отопления, протекает крыша: все течет и ничего не меняется в повседневной жизни его). Но как бы то ни было ему неуютно как зрителю, он смотрит этот странный спектакль жизни с большим интересом [часто произносит — «это интересно!»]. А лучше всего его жизненную установку выражает любимая его фраза «и — дальше!». Ведь эта реальная жизнь скрывает, таит в себе еще нечто такое, что выносит ее из собственных границ хронических неурядиц, влечет ее «дальше», в неизведанность, в ней есть своя тайна, своя великая игра. И Гиви Маргвелашвили пытается понять правила этой скрытой ве-



ликой игры и принять в ней участие — там, где не властен / ни быт, ни еще что- или кто-нибудь из этой реальной жизни в мышлении, воображении, в тексте.

Еще в самый трудный, трагический период своей жизни (если ее можно назвать жизнью!) — сначала в камере комендатуры, потом в бараке концлагеря Заксенхаузен (сменившем, соответственно, вывеску), впервые задумывается он об ответственности текста за все, происходящее в истории. Не людей, нет, — за свои поступки люди отвечают перед судом совести, либо обычным, юридическим судом, либо, наконец, перед Страшным Судом. А как быть с текстом, который может побудить человека к совершению самого чудовищного поступка, как судить текст?

Такая мысль может показаться, мягко говоря, наивной — допустимо ли привлекать к ответственности текст — создание человека, орудие, инструмент для сообщения его замысла, воли, идеи! Можно обвинять автора или читателя как «сознательные существа», но текст же, как простое, физическое тело, никаким обвинениям не подлежит, соответственно, и никакой ответственности, кажется, нести не может. Однако дело в том, что, созданный человеком текст приобретает некоторую независимость от него, он сам организует, упорядочивает восприятие читателя. Текст — это Космос (древнегреческое — строй, порядок) человеческой культуры, поэтому и характер чтения не является чем-то второстепенным, случайным для жизни: читать (определенным образом) — значит также и жить (определенным образом). Поэтому текст вполне возможно и необходимо рассматривать как самостоятельный персонаж истории с собственной силой, энергией: задолго до открытия мощной термоядерной энергии существовала, говоря в излюбленной манере Гиви Маргвелашвили, текстоядерная энергия, не менее опасная для людей. Текст может пленить человека, поработить его, превратить в «говорящее орудие», марионетку, подвешенную на ниточках-цитатах. В той же манере позволю себе так классифицировать текст (упрощая, конечно, точку зрения Гиви Маргвелашвили): цитата (текст) может прочитываться, восприниматься, переживаться нами как ц и к а д а (музыка воображения, сознания), или как ц и к у т а (яд-отрава для души и духа человека), или как ц и т а д е л ь (бастион, крепость внутреннего мира человека, для защиты которой он готов пожертвовать и своей жизнью, и нередко — жизнью других людей). Причем любой текст находится под подозрением как потенциальный захватчик и поработитель человека-читателя, —

лишь один текст, по замечанию Гиви Маргвелашвили, вызывает абсолютное доверие — текст Библии.



Истоки такой грозной опасности текста в том, что можно назвать монологократией, властью одного-единственного смысла, когда текст становится квази-Библией, как бы священным текстом, без действительной «святости» — неисчерпаемости смысла, «многосмысленности». Единовластие смысла квази, мнимо-священного текста как бы стирает, уничтожает все то в личном опыте человека, что противоречит этому единственному смыслу, идее, теме, происходит едва ли не полное отождествление, слияние личности и текста в определенной интерпретации прочтения: в таком читателе устраняется предельно (но никогда — окончательно) — человек, как существо, открытое для многих — различных текстов и смыслов.

Эта власть одного смысла [текста] может быть ослаблена, сведена к минимуму благодаря невнимательному, «поверхностному» чтению, — однако в подобном случае и сама жизнь оказывается не заслуживающей внимания [ибо «читать» — определенным образом значит также и «жить»]. Отсюда возникает такая антиномия: свобода человека невозможна без чтения, а вместе с тем оно может лишить ее, поработив человека. Выход из ситуации кажется очевидным: в процесс чтения должны вовлекаться различные, альтернативные по смыслу тексты — тогда появляется выбор и возможность поиска собственного, самостоятельного образа жизни. И мы всегда читаем такие различные тексты — но дело заключается в том, что один из них может стать источником, «ключом» для прочтения остальных (не говоря уже о том, что иногда сама реальная жизнь резко ограничивает возможности для чтения альтернативных текстов). Поэтому каждый текст, в некотором «идеале», как «свободный текст», должен иметь некоторое предупреждение для читателя, некоторую защиту от прямой идентификации, отождествления чтения [данного текста] и жизни [данного человека].

Такая защита читателя осуществляется несколькими приемами — прямым вторжением автора, напоминая читателю, что он имеет дело именно с «текстом», а не «жизнью», или же внедрением альтернативности в текст — благодаря его диалогизации, столкновению принципиально различных и равноправных (равнообоснованных) идей, позиций персонажей.

Каким же образом защищает Гиви Маргвелашвили своего читателя от потенциальной опасности господства «текстоядерной» энергии своих собственных художественных произведений! Ведь

он, так ясно сознавая роль текста в истории, продуктивно исследуя ее в своей философии онтотекстуальности (философии бытия-текста), должен, очевидно, сохранять свободу читателя, оберегая его от возможности порабощения и своими текстами!

Надо признать, что чтение стихов, пьес, романов Гиви Маргвелашвили действительно, как об этом предвещивает администрация театра в зрительных залах, совсем «не опасно для жизни»: эти произведения можно спокойно рекомендовать самой девственной читательской душе, и она не обратится, не поработится какой-то одной идеей, одним смыслом текста, поскольку сам текст изначально двусмыслен, «многосмыслен», полисемантичен. Эта двусмысленность выражена уже в самом слове, с играющим звучанием и соответственно — разносмыслием, как, например, в ключевой для его поэзии прелестной метаморфозе «lesen» — «leben» (после долгих поисков аналогов в русском языке — таких, как «читать» — «считать» или «жить» — «шить», ведущих в мир счетоводов и портных, могу указать только на один точный вариант «том» — «дом», исключая, однако, возможность глагольных образований). Усиливается же и обретает объемность, полноту жизненности это созвучие-разносмыслие в параллельном описании этих смыслов как самостоятельных тем произведения, с собственными героями и судьбами, в мастерском акте политематизации произведения, когда ни одна из тем не может быть признана, прочитана как «основная»: читатель постоянно балансирует на границе этих смыслов и реальной жизни. Возьму на себя смелость сказать, что художественные произведения Гиви Маргвелашвили — это завершенные, классические творения в жанре полисемантической (политематической) поэтики (которые доставят множество забот его переводчикам). Правда, драматургия его написана иным, «прямым» языком (поэтому она относительно легче доступна переводу), но и здесь играет и спорит с текстом, с одним его прямым смыслом — иной, смысл самой театральности, театра, как искусства сцены, жизни на сцене.

Если в своей поэзии и прозе Гиви Маргвелашвили подрывает прямой и очевидный смысл слова, этого ядра текста, то в своей драматургии он подрывает смысл сценического искусства, самой жизни на сцене — этого ядра театра — инъекцией знания о существовании иной жизни — зрителей. Тем самым освобождается «ядерная энергия» смыслов, увлекающая зрителей своими сю-

жетами, своей красотой движения, перехода из одной реальности в другую.

Остается только пожелать, чтобы как можно скорее произведения Гиви Маргвелашвили, его тексты перешли из одной реальности — рукописности — в другую — опубликованность, и зрители могли бы увидеть встречу его текста и жизни.

Леонид ЧЕЛИДЗЕ,

старший научный сотрудник Института философии АН ГССР, кандидат философских наук.

---

СПОРТ

## ИСПАНСКОЕ СЕРЕБРО ГРУЗИНСКИХ ШАХМАТИСТОВ

**2-9** августа в испанском городе Линаресе состоялась I шахматная Олимпиада юношей до 16 лет. В ней приняли участие 28 сборных команд из 22 стран. Соревнование проходило по швейцарской системе, было сыграно 12 туров.

В столь престижном турнире Грузию представляли тбилисские школьники, кандидаты в мастера (в порядке досок) Серго Мовсесян, Георгий Бахтадзе, Михаил Мчедлишвили и Алеко Эдишерашвили. Тренер команды — заслуженный тренер республики мастер спорта Александр Бокучава. Грузинскую делегацию возглавил первый вице-президент республиканской шахматной Федерации Важа Шубладзе.

Наша команда набрала 36,5 очков из 48 возможных и заняла второе место вслед за командой Россия-1 (38 очков). Шахматисты награждены серебряными медалями.

Результаты Олимпиады еще раз свидетельствуют, что в республике сегодня немало перспективных юных шахматистов. И не случайно, что недавно среди своих сверстников чемпионкой мира стала десятилетняя Анна Матнадзе из Телави, а двенадцатилетний кутаисец Валерий Гаприндашвили завоевал звание чемпиона Европы.



## ДНЕВНИК АБХАЗКИ

«О Боже, внимли моим мольбам...»

**О** Боже, Создатель и Отец наш небесный! Господин и Пастырь всего живого на земле. Боже милостивый, за какие тяжкие грехи превратил ты род человеческий в кровопийц и людоедов? В чем провинилась, Боже, я, несчастная, что от руки друг друга должны погибнуть братья мои возлюбленные Нико и Темур?

Мама Шура и родившая меня мама вместе росли. И замуж вышли одновременно. Я и мой молочный брат Нико родились на одной неделе. Мне и месяца не исполнилось, как Господь забрал моих родителей. Остались сиротами я и мой старший брат Темур. Мой отец взорвался на шахте, мама погибла в катастрофе. Нас на воспитание забрали дяди. Мы с Нико по-братски делили кормящую грудь мамы Шуры, когда я немного подросла, дяди не раз пытались забрать меня к себе, но я настолько сроднилась с Нико и с Тамуной, что никакая сила не смогла оторвать меня от этой семьи. И в грузинскую школу привела меня любовь к этой семье. Ко мне часто приходил Темур, и я с его помощью осваивала свой родной язык. В десять лет я уже самостоятельно могла посещать своих родственников, и с каждым разом я все сильнее

---

Недавно издательство «Самшобло» и редакция газеты «Колхская диадема» на трех языках — грузинском, русском и английском издали книгу «Ткварчельская трагедия». Книга эта — дневник 18-летней абхазской девушки, погибшей в катастрофе вертолета. (Дневник был найден девочкой Наной Сидиани в окрестностях деревни Сакени в северо-западной части Грузии — Сванэти).

— Мы сделаем все для того, чтобы мир узнал имя этой девушки и имена погибших вместе с ней людей, — сказано в предисловии, предпосланном писателем Джано Джанелидзе.

ощущала зов крови. Вскоре я заметила, что горжусь своей национальностью. Мне нравились степенность и уравновешенность моих соплеменников, уважение к старшим. Мне доставляло радость то, что я была гражданкой Грузии и абхазкой. Я и не мыслила, что подобное злодеяние могло произойти в этом благословенном краю. За 18 лет, проведенных в семье мамы Шуры, я ни разу не услышала ни одного обидного слова в адрес абхазцев. Я слышала только хорошее и доброе. О Боже, возврати прежние доверие и любовь двум маленьким гордым народам!

### 14 августа

Если мне доведется прожить еще 200 лет с этого черного дня, его ничто не сотрет в моей памяти. В этот день начались мои невыносимые страдания и муки. С этого дня исчезло с моего лица всякое подобие улыбки. Целые ночи провожу я в страхе и молитвах, а утром преклоняю колени перед Господом и молю Его смилостивиться над неразумными рабами Его, людьми, и вернуть им, ослепленным, обезумевшим, — разум. Нико и Тамуна, как всегда, пытаются хоть как-то расшевелить меня, но это им не удается.

### 28 ноября

Наконец-то мне удалось выискать свободную минутку, чтобы записать свои беды. Я больше не нахожусь в грузинской семье. Беспощадное кровопролитие лишило меня всех, я даже не знаю живы ли они. Открытый грузинами огонь заставил меня посреди ночи вскочить с постели: из кромешной тьмы и адского, жуткого, нечеловеческого крика вывела меня чья-то незнакомая мужская рука. Мой спаситель оказался абхазцем. С той ночи я ничего не знаю о взрастившей меня семье. Знаю только одно, что дома больше нет. Сейчас я в числе переселенцев. Я уже свыклась с ежедневным страхом и бомбежкой, но с утратой родных — нет. Каждый день со слезами на глазах я смотрю в сторону нашей разрушенной улицы в надежде увидеть Темура или Нико, но тщетно, я до сих пор не смогла ничего разузнать.

Сегодня в штабе произошло ужасное. Восемнадцатилетний юноша покончил собой. В руке самоубийца держал окровавленную фотографию красивой девушки. На фотографии была надпись по-русски: «Прости, Эка, я больше не могу».

Как я узнала, этот юноша любил соседку-грузинку, ко-

торая на днях похоронила всех своих родных. Поговаривали и о том, что якобы его любимую изнасиловал какой-то пришелец.\*

Многие проклинали Ардзинбу, а я в душе произносила «аминь».

Вечером в штабе расстреляли двух братьев абхазцев, их обвиняли в разглашении какой-то тайны. Я до сих пор не могу прийти в себя от жалости к ним.

Боже, милостивый и всемогущий, положи конец этому аду!

Аминь!

### 29 ноября

Я оплакала сегодня Тамуну и маму Шуру. Знакомые сообщили мне об их гибели. О-о, Боже, сохрани мне Нико и Темура, не лишай меня надежды в жизни.


Атаки с грузинской стороны продолжаются. Вой и грохот снарядов больше ни у кого не вызывают удивления, да и страха никто не выказывает. Мне все равно — жить или умереть. Еженощные песнопения проклятых пришельцев убивают мне сердце. Неописуемое отвращение вызывают их жадные взгляды, шарящие по нашим грудям, прикрытым ветхими халатиками. Господи, хоть бы поскорее закончился этот ад.

### 30 ноября

День был ужасный. Сегодня похоронили 18 абхазских бойцов и 13 трупов пришельцев отправили вертолетом. До их отправления пришельцы должны были расстрелять 15 грузинских пленных. Среди них сванский парень, который чем-то похож на Нико. Благодаря моим горячим мольбам и авторитету дяди он избежал этой участи. Я на коленях умоляла дядю, чтобы не расстреляли этого парня. Его вывели со связанными руками. Он потрясающе красив. Разве что звери способны уничтожить подобную красоту. Его лицо совершенно спокойно и невозмутимо, словно его привели на прогулку, а не на расстрел. Он стал оглядывать толпу, словно надеясь увидеть знакомое лицо, его взгляд остановился на мне, и мне показалось, что он искал во мне спасение. Пришельцы расстреляли на глазах у него 14 грузин, он старался не

---

\* Имеется в виду наемник.



смотреть на это жуткое зрелище и устремил взор в небо. Среди расстрелянных были такие юнцы, что я всю ночь не находила себе места. И лишь мысль о том, что мне удалось спасти хотя бы одного из них, несколько успокаивала меня. У меня все время перед глазами его взгляд, обращенный в мою сторону. Я знаю, что именно этот взгляд придал мне смелости молить о его спасении. Хоть бы дал мне Бог силу спасти его и вернуть этого мужественного парня его семье.

### 3 декабря

О Темуре и Нико по-прежнему ничего не знаю. Я даже не смею думать о худшем. О, Господи, сохрани их от всяких бед. К моим заботам прибавились новые. Сегодня в штаб принесли 8—9-месячного ребенка из грузинской семьи, его родителей поглотила проклятая война. Начальство предложило усыновить его молодым женщинам, но они отказались, сославшись на то, что им и своих нечем кормить. Ребенок исходил криком. Одни женщины с ненавистью и злорадством наблюдали за этой сценой, другие — плакали от жалости к нему, но к ребенку никто не прикасался, опасаясь, что он останется у нее навсегда. Все остолбенели, когда я, неопытная восемнадцатилетняя девушка, прижала дитя к груди. Дядя метал громы и молнии, но я не отступилась.

Уже 3 часа ночи. Маленький Нико мирно посапывает. А я опять и опять молю Господа: «дай мне увидеть живыми моих братьев Нико и Темура. Верни семье незнакомого пленника, сванского парня, и дай мне силы вырастить маленького, как вырастила меня покойная мама Шура.

### 4 декабря

В нашем городе осталось много грузин. Они изнурены голодом. Иногда мне удается подбросить им украденный в штабе хлеб, но это капля в море.

Сегодня начальника посетила группа грузинских мужчин, которые предложили свою помощь взамен хлеба и оружия. Штабист расхохотался: «Сейчас вы голодны и уверяете меня в своей преданности, а как только насытитесь, обратите мною же розданное оружие против меня». От группы отделился, как мне показалось, мегрел и сказал штабисту: «Испытай нас, и если увидишь измену, в заложниках останутся наши жены и дети». Штабист ответил, скалясь: «Абхазец, который выстрелит в абхазца, и подавно не станет братом»



грузину, так что грузин, охотящийся на грузина, никогда не будет мне верным!» Ответ начальника отрезвил людей, и они начали расходиться. Штабист предложил им составить список и обещал помощь. Пришельцы встали на дыбы, что грузинам надо обещать не помощь, а истребление. На что абхазец опять рассмеялся: «В Абхазии еще остались уголки, где грузины укрывают абхазцев, и хотя бы поэтому мы должны немного помочь этим людям».

Я была восхищена таким ответом, и во мне затеплилась надежда, что опять восстановятся между нашими народами доверие и любовь.

Господи, помоги людям это сделать.

Аминь!

### 7 декабря

Наши горести и тяготы растут день ото дня. Похолодало, выпал снег, и фронт приблизился к нашему городу. О Нико и Темуре — опять ничего. Хотя о Нико прошел слух, что он подался на фронт, а насчет Темура, мне кажется, дядя что-то скрывает. Маленький Нико свыкся со своей судьбой и новой мамой. И в моей жизни появилась цель. Я уже мать и не имею права умирать, пока Нико не найдет своей родной матери (если Всевышнему будет угодно). Любовь к маленькому несколько облегчает мои горести и страдания. Все удивляются моей сноровке с ребенком, а некоторые даже помогают.

Пришельцы пригнали пленных. Среди них были тринадцатилетний мальчуган и шестнадцатилетняя девочка. Мальчик плакал, а девочка старалась его успокоить, украдкой смахивая слезы. Командир сотни пришельцев, уродливая образина, прослывший как «женская пиявка», не сводил с них глаз. Образина что-то приказал на своем языке бойцам, и детей завели в его кабинет, остальных же пленных бросили в яму. Дядя не внял моим мольбам, и я со слезами вломилась в кабинет пришельца. Урод тискал захлебывающуюся слезами девочку, мальчик сидел в углу спиной и всхлипывал. «Скотина!» — крикнула я вне себя от омерзения и схватила девочку за руку. Образина, не выпуская девочки, свободной рукой притянул меня к себе. Я укусила его за руку и выскользнула из его объятий, схватила стул и изо всей силы обрушила его ему на голову. Урод дико взвыл, и в глазах его вспыхнула злоба. Я не представляю, чем бы все это закон-

чилось, если бы в дверях не появился Масик, который отличается от всех в штабе своей добротой и мужеством.

Урод понял, что со взведенным курком шутки плохи, и проглотил свою злобу. Я перевела детей к себе и добилась от дяди обещания, что они будут освобождены при удобном случае. Ночью между Масиком и уродом произошла ссора, и начальник штаба с трудом предотвратил столкновение.

### 9 декабря

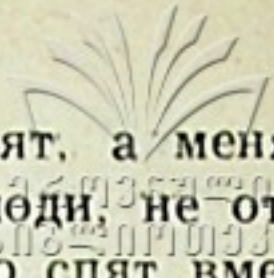
Судьба маленького Нико беспокоила и дядю, и он умоляет меня перелететь с ребенком к родственникам в Адлер. Но я непреклонна, так как каждую минуту жду Нико, который может попасть в плен. Страх за Нико удерживает меня от отъезда.

Все эти дни в штабе траур, так как из Гудауты приходят плохие сообщения. Ко всему этому с Беслахубского фронта привезли трех покойников. Одним из них оказался урод, вторым был незнакомый, с третьего же начальник дрожащей рукой откинул простыню, чтобы все увидели Масика. Я сильно плакала. Я как брата любила этого доброго, отважного парня. Господи, прости несчастному все его грехи, прими, Господи, его светлую душу. Аминь!

Поговаривают, будто урод смертельно ранил Масика, а истекающий кровью Масик смог убить и урода, но начальство опасается разглашения.

### 13 декабря

С утра слякоть. Я целый день готовилась к отъезду. Уложила ребенка спать, и уже стемнело. Закончила молитву и прилегла рядом с Нико, чтобы от нежности, исходящей от него, хоть немного забыться. Раздеваться не стала, так как ждала прихода Темура. Послышался осторожный стук, я на цыпочках открыла дверь. За Темуром маячили два силуэта. Господи, да прославится воля Твоя! Я счастлива Твоей милостью! Сегодня безгранична моя радость, рядом со мной мой Нико и Тамуна, мой Темур и маленький Нико. Мама Шуры больше нет, об отце ничего не известно. Пока я знакомила маленького Нико с Нико и Тамуной, от дяди вернулся Темур с хорошей вестью. Завтра мы все впятером полетим в Адлер и будем жить в домах, отведенных для беженцев, пока все не успокоится.



Иду я все это поздней ночью. Уже все спят, а меня сон не берет. От счастья я не смогу заснуть. Господи, не отнимай больше у меня этого счастья. Темур и Нико спят вместе в обнимку на Темуриной кровати. Господи! Дай мне увидеть вместе мою Абхазию и Грузию!.. Тамуна во сне прижимает к груди маленького Нико. Сейчас я всех приласкаю и лягу счастливая рядом с Тамуной и маленьким. Господи, спасибо Тебе за дарованное мне счастье, не лишай такого счастья всех достойных людей. Завтра вечером я уже буду в Адлере, и хоть глаза мои больше не будут видеть этого ада. Единственно, за что сейчас болит душа, что я ничем не смогла помочь тому сванскому парню. Брата с сестрой обменяли на раненых абхазцев. Я долго просила дядю помочь этому парню, но напрасно. Дядя сказал, что этот парень понадобится для обмена в Гудаута.

### 14 декабря

Ждем вертолет. Народу множество. Все готовятся к отлету. Кто рад, кто боится, а кто плачет, не хочет отрываться от родных. Меня душат слезы, о чем только я не передумала, но больше всего меня тревожит судьба родного города.

Господи, прошу и молю Тебя, я, восемнадцатилетняя абхазская девушка, спаси и сохрани грузин и абхазцев, искорени сатану, который сеет между ними ненависть и вражду, верни людям доверие и любовь, что пронесли они вместе через столетия. Вразуми обе стороны, дабы увидели они и истинного врага и доброжелателя. Грузинской кровью запятана совесть абхазца, и от абхазской крови блекнет совесть грузина.

О-о, Боже милостивый! Внемли стенаниям отцов, стону матерей и плачу детей. Даже горы содрогаются от ужаса этого земного ада, скоро моря сдвинутся с места и даже Риони не сможет смыть свершившийся грех.

Боже Всемогущий, вырасти мне маленького Нико, спаси и сохрани мне Нико, Темура, Сосо, Варлама, Тэону, Лию, Нонну, Мадонну, Шалву, Бидзину, Лелу, Илону и многих, многих других. Сохрани от гибели Грузию и солнце ее — Абхазию!

Вон и вертолет показался. Люди засуетились. Продолжу в Адлере.

Продолжаю здесь же.

Люди напуганы, пилот объявил, что в них запустили ракету. Многие передумали лететь. Мне тоже не хочется, но дядя непреклонен. Кажется, ведут свана. Да, я не ошиблась. Он среди нескольких пленных. Через некоторое время мы будем совсем рядом друг от друга. Я чему-то радуюсь. Боже, дай нам благополучно доехать. Я постараюсь сесть в вертолете рядом со сваном, чтобы побольше о нем узнать. Фамилию я уже знаю. Чхетиани родом из Кветевани, он сам сдался в плен. Остальное напишу потом. Господи, дай нам благополучно доехать.

Аминь!



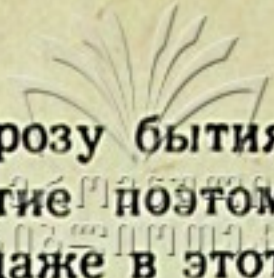
---

---

**ОТ РЕДАКЦИИ:**

В № 6 на стр. 141 14-ую строку снизу следует читать: «Тамрико Апакидзе всего лишь 11 лет. Уроженка Санкт-Петербурга (Ленинграда)» и далее по тексту.



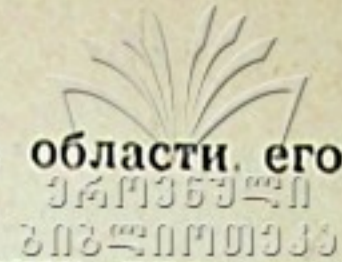


сила эпохи над душой поэта, попытка воплотить прозу бытия (часть которой составляло и трагическое восприятие собственной прозы жизни) в близкой ей форме. Но даже в этот момент в Нико Самадашвили преобладал поэт и поэтическое воображение. Поэтому слияние формы и ее реального содержания во «Встречах и сожалениях» осуществлялось фактически в обход законов жанра. Это произведение нельзя назвать ни циклом рассказов, поскольку зарисовки во «Встречах и сожалениях» хоть и объединены общим сюжетом душевных злоключений, но не носят внешних признаков сюжета, а лишь внутренне, эмоционально выполняют его функции, ни романом, ибо отсутствуют почти все его компоненты. Его создает духовная потребность рассказать о своем поэтическом «я», создать «историю» души, эстетизировать «непоэтический» на первый взгляд пласт жизни.

Подобная духовная потребность Нико Самадашвили отмечается и в статье Тамаза Чхенкели: «Потом он читал свои любимые стихи. Читал с большим чувством, самозабвенно. Даже не читал — а рассказывал (выделено мною — М. К.), говорил о чем-то ином, как бы горько плакал, отводил душу... Будто удивлялся, что существует такой непутевый, такой несчастный человек и что этот человек — он сам».


Человек, скитающийся по трясинам жизни и щедро сеющий «духовный хлеб» — таков герой его прозы. Поэтическое «я» Нико Самадашвили проступает в нем своим человеческим профилем и смотрит на своего героя, как друг может смотреть на друга — с жалостью, сочувствием. Во «Встречах и сожалениях» прочитывается трагическое, роковое несовпадение его поэтической души и его же бытийного образа, мысли, идущие из нереализованных глубин его духовности. «Подсознательный поток интимных впечатлений с особой силой проявляется лишь в сложном комплексе характерных для него образов» (Тамаз Чхенкели).

В отличие от произведений, написанных в так называемой исповедальной форме, главной целью которых является изображение личной, внутренней жизни писателя, во «Встречах и сожалениях» мы встречаемся с художественной структурой, носящей внешний образ этого внутреннего «я», что менее всего можно было ожидать. Функцию «исповеди» выполняют в нем диалоги между рассказчиком и его другом. Бесконечный поток воспоминаний, чувств, жизней, различных образов, восстановленных в памяти, — внешние проявления весьма интенсивной духовной жизни. Самое ценное по своей значимости среди всего этого — образ друга, собеседника поэта. В мир



автора-рассказчика он входит как законодатель в области его чувств и воли.

Прежде чем мы шагнем непосредственно в мир произведения Нико Самадашвили (именно «шагнем», ибо знакомству с этой прозой сопутствует чувство преодоления какого-то рубежа, вступления в нечто материальное. Это материальное есть метафорическая наполненность его образов, плотность поэтического мышления, весомость, оформленность, одним словом, поэтическая материальность), хочу напомнить читателю фразу из его письма, адресованного Вахтангу Котэтишвили (заслуживает внимания факт, что письмо написано им в двадцать два года): «Меня так мучает страх беспредельности и безысходное скитание земли, что кажется, будто я точка, в которой сосредоточена беспросветность мира». Это трагическое ощущение беспредельности нуждается в пределах, подобно тому, как у Галактиона: «Душа так же жаждет границ, как безграничность». У Нико Самадашвили беспредельность ощущается как отсутствие временных и пространственных границ мира («Непроходимый строй планет сводит меня с ума и бросает в дрожь»). Это чувство разрушает тело и жизнь человека, ограниченные временем и пространством, подобно всеразрушительному космическому урагану. Именно здесь появляется «движение, подобное урагану», характерное для поэзии Нико Самадашвили, что вполне точно было подмечено Наирой Гелашвили в ее статье о его поэзии. Этот признак равным образом свойственен и его прозе (лишь с меньшей интенсивностью, что объясняется спецификой жанра). С одним комментарием: «Это движение, подобное урагану, застыло» не столько потому, что «пленено словом», сколько, и думается, это главная причина, потому что душа поэта воспринимается как «точка, в которой сосредоточена беспросветность мира», а его жизнь — как убежище, последний приют в бесконечном бытии (вспомним: у древних греков время жизни представлялось точкой, а не отрезком). Ураган, или же связывание этого реального символа непрерывного движения и энергии с прямо противоположным действием — остановкой, выражает существенную черту поэзии Нико Самадашвили — единство противоположностей (ураган — движение, а остановка — неподвижность). Ураган вынужден остановиться по указу высшей уравнивающей силы, которая сосредоточила беспредельность в точке, тем самым установив ей пределы (я — точка, в которой заканчивается беспредельность) или придав ей человеческий образ. Аналогично должен прекратиться и ураган в душе, застыть в поэтическом образе под диктовку



поэтической силы и в этой точке — в «я» поэта — действенной, завершающей ограниченной точке прекратится, исчезнет беспросветность мира. Как вечность олицетворяется во времени (время по Платону — движущийся образ, подтверждающий существование вечности), так и беспредельность мира — в поэтическом «я», единственной точке, «где сосредоточена беспросветность мира». А это означает, что беспредельность, ищущая пределы, находит их (достигает цели) в душе поэта, в плодах его вдохновения. И как для вечности временное ее состояние необычно (моменты этого состояния, опять-таки по Платону — рождение, смерть и преображение), так и заключение беспредельности в человеческом «я» более чем необыкновенно, или же, говоря языком метафор, для застывшего урагана, как постоянной изменчивости, необычна законченная форма. Время перемен принадлежит не преходящему, а вечному, отсюда и необычная, прочувственная образность воспоминаний и антиципаций (т. е. прошлого и будущего) Нико Самадашвили. «Во времени содержится сообщение вечности о самой себе (время — движущийся ее образ)». Эта мысль осознается с помощью механизма воображения, который одновременно осуществляет уже бывшее и еще не бывшее. Любое время — момент вечного бытия. Вот откуда таинственные образы досознательной памяти Нико Самадашвили: «Кто-то смотрел с дальних рубежей преходящности», «Развалины кашляли где-то в загоне сумрачных веков...». Вот что рождает чувство мессианского назначения поэта, мысль о его участии в создании мира. Поэт — частица мира и вечности, и поэтому ответствен за то, что говорит. А высказаться ему необходимо, внутренне необходимо не только на языке поэзии, но и прозы, и письма, на всех возможных языках, ибо любой речевой контакт означает, что он поверяет миру собственное назначение и состояние. Это поэтическое чувство, не уместившееся ввиду своей всеобъемлющей, универсальной внутренней сути в стихотворной форме, как разлившаяся река, заливает видимые и невидимые пространства поэзии и прозы. Его мука — трагедия беспредельности, а его устремленность вызвана желанием уместиться в рамках. Поэтому — постоянный ураган, ветер и буря, движение безмерно интенсивное, смелое, сильное, ритмичное: «Трудно петь и говорить одновременно... будто земля уходит из-под ног, не знаю, где упокоюсь, хотя бы стоя (у Бараташвили: «Где обрести покой душе, куда приклонить ей голову?»). Проза Нико Самадашвили — плод этого «незнания». Плод того душевного состояния, когда временные и про-


странственные границы жизни стесняют человека так же, как и его физическое тело и predetermined образ жизни.

Здесь необходимо остановиться на отношении Нико Самадашвили к форме. На языке теории Эриха Фромма отношение Нико Самадашвили к форме есть признание «существования» формы и отказ от «владения» ею (из письма к Вахтангу Котэтишвили: «Вы большей частью говорите со мной о форме стиха (построение строки, рифма и др.), что главное если не для меня, то для стиха). В этих словах — его протест против засевшего в уме современника инстинкта «владения». Личность поэта воспринимается в его двойном бытии: как социальное явление и как внутреннее «я», неотъемлемая часть мира и последняя грань его безграничности.

Он старается говорить на том языке, на котором призван говорить, — на языке своей души, довериться целому как его частица. Вычленение поэтического «я», как известно, происходит исключительно из эстетических соображений. Внутреннее духовное бытие для поэта лишено сюжетной значимости (М. Бахтин), оно не может превратиться в эстетическую форму внутри себя, ибо полное его совпадение с «я» уничтожает эстетический момент. Несколько слов необходимо сказать о речи Нико Самадашвили как повествователя. Эта речь представляет собой необычный симбиоз исповедальной и диалогической форм. Иногда собеседник автора выглядит механическим наростом, «аккомпанементом внутренне несогласованной экспрессии», выполняющим лишь формальную функцию. Впрочем, порой он предстает как своего рода субъект, упорядочивающий эмоциональный поток рассказчика и указывающий на направленность его воли. Это обстоятельство должно быть вызвано тем, что «внутренняя речь» Нико Самадашвили характеризуется исповедальным пафосом особо высокого напряжения.

В литературной форме исповеди нет ни автора, ни героя, ибо отсутствует основа для их взаимодействия — фабула. Внутренняя речь одnogолосная, а не двухголосная. (М. Бахтин.) Исповедь — одна из форм выражения нашей метафизической сути (приобщение к Всевышнему возможно лишь на ее основе), отсюда — мистический характер этого акта. Внутреннее слово, по существу, форма мысли и готовность к диалогу (но не обязательно диалогу с конкретным человеком). Диалог еще не начат, но слово принадлежит миру, вечности, жизни и поэзии. Внутреннее слово «начнет действовать» лишь после того, как обретет внешнюю форму, выразится в диалоге или исповеди, но диалог подразумевает не только противостояние, но





и согласие. Он есть форма невозможности существования друг без друга, необходимости взаимоотношений между «я» и «ты», доверия, любви. Выражением именно этой идеи является участник диалога Нико Самадашвили-поэт. В художественном тексте он выполняет функцию символа этой необходимости, но никак не конкретной личности или хотя бы реально существующего духовного собрата.

Гарантия реальности человеческого бытия есть течение жизни, движение, переменчивость, т. е. ощущение реальности фиксируется за счет утечки жизни (к концу смерти). Здесь заключен парадокс мышления — мера полноты жизни определяется благодаря смерти. В таком контексте следует читать и строку одного из стихотворений Нико Самадашвили: «Мир существует! Я думал осторожно. Мир существует. Действительно». В реальной плоскости это может звучать лишь риторически, в поэтическом же измерении сомнение в существовании мира (высказанное однако в форме уверенности) свидетельствует о постижении сути изменчивости. Изменчивость принадлежит вечности, поэтому мир как изменчивость существует в действительности, существует как сообщение о вечности.

Встреча с прозой Нико Самадашвили требует определенной подготовки, в первую очередь, психологической. Вы не найдете в ней сюжетного развития явлений, когда эмпирические факты наряду с художественно-эстетическими ценностями имеют и самобытную жизненную ценность.

В этом смысле проза Нико Самадашвили исключает реальные факты. Взгляд автора обращен вовнутрь, к глубинам души, и мир, пропущенный через этот взгляд, предстает перед нами в до отчуждения изменившихся образах. Они выписаны мазками скорее более пластичными, экспрессивными, нежели живописными. Главнейшим признаком этой прозы вообще является обостренная экспрессивность. Она осваивает мир не только для того, чтобы осознать его, но и для того, чтобы прочувствовать самые интимные связи человека с этим миром, а результат этих связей — богатый и многообразный эмоциональный опыт трагизма бытия раскрывается в слегка патетической (что всегда сопровождает исполнение ритуала), артистической и сакральной манере. Поэтическое чувство Нико Самадашвили предусматривает примерно ту же степень вдохновения, какую мы встречаем у Паоло Яшвили: «И нет муки более огромной, чем заболевание поэта вдохновением». С той лишь разницей, что мука Нико Самадашвили онтологична, вызвана не только вдохновением, а более глобальна — она бы-



тийна, связана с нарушением единства человека и мира. Нарушение этого единства отражено в сильнейшем синестезированном образе — «липа ошиблась цветом» (категориальный сдвиг понятия «человек сошел с ума» в области природы). Тревожное предчувствие существенных перемен усиливается вопросительной фразой «Что происходит?», за которой следует образ заболевшего, погибающего дерева: «...Здесь покоится дерево, зараженное прахом поэта и истощенное». Гибнет мир, лишенный поэтической сути, ареал поэтического восприятия этого катастрофического разрушения целостности и единства мира и человека все расширяется и расширяется. Поэтическое «я» человека, часть мирового экстаза, горячими каплями стекающая в «купель сердца», находится на грани исчезновения. Признак этого экстаза — таинственность, переходящая вслед за разрушением целостности в трепет перед неизвестностью, заблаговременный страх обреченного на исчезновение поэтического «я» перед беспредельным миром («непроходимый строй планет сводит меня с ума и бросает в дрожь»). Трухлявость, пустота («мои кости испещрены дуплами»), подмеченные Тамазом Чхенкели и Наирой Гелашвили, есть в то же время метафора потери человеком поэтического восприятия мира. Поэтому пространство Нико Самадашвили — пространство, склоняющееся к опустошению. Отсюда и сметающий все на своем пути ураган, который связывается в нашем представлении с ощущением бесприютности, бездомности (вспомним Галактиона: «Лишь ураган не имел дома»). Чувство одиночества усиливается образами бесприютных, отторгнутых историей религиозно-этнических ценностей: «старыми пещерами», «идолами с выколотыми глазами», «трухлявыми стенами храма». Ощущение запустения усиливает и чувство исчезновения времени. Образ ели привнесен в этот ареал необычных метафор, рождающих трагическое чувство, для контраста: «Ели хоронят тело». Ель — метафора вечной жизни. Она — посол вечности у преходящности.

Учащенное оргиастичное дыхание иссякшего, опустошенного окружающего мира (оргиастичное лишь по форме и интенсивности, по содержанию же — антиоргиастичное, смертельное), наполнено предчувствием конца. В этом опустошенном, бесчувственном мире и протекает жизнь поэта («кто жизнь уносил, как бесчувственного покойника»). Чувство личного самоуничтожения обострено осознанием национальной беспризорности (чувство национального единства у Нико Самадашвили — рокового содержания. Оно подразумевает единую духовность, и разрушение ее означает уничтожение духов-

ности. А она — выше всякого материального пространственно-временного единства и представляет результат кристаллизации историко-культурного, языкового, мироощущаемого, психогенетического единства): «Ты задумался швыряемый судьбой, и грузинские звуки трепетали у тебя в груди, знаешь ли, что на тебя обиженными ребятишками смотрят живые ручейки?».

В творчестве Нико Самадашвили — избыток надматериального пространства и недостаток материального («осторожнее, чтоб люди не попадали с земли»), соседство беспредельности и непроходимости (беспредельность — отсутствие рубежей, беспрепятственность; непроходимость — наличие этих рубежей). Единство противостоящих пространственных идей возводится в эстетическую степень в трагически распространённом образе конца Европы: «Нескончаемый поток обречённых людей подобно изморози надвигался на человеческую бойню, земля содрогалась перед утесами тьмы. Поднявшиеся бури с грохотом, воем и шумом гнали гряду ужасных облаков в поблекших пространствах Европы... Кричали разверстые вулканы. В непроходимых пустынях беспредельности рыдали оглушённые планеты» (вспомним: «строй планет»). Эта картина воспринимается как предвидение глобальной мировой катастрофы, грани жизни и смерти стерты, предельно напряжённый ритм свидетельствует о предсмертной агонии мятущейся земли. Прислушайтесь, как гудит разряженное бледное пространство сорвавшейся с орбиты Земли, какой оглушительный грохот вторгается в обитель смерти и жизни. Переходящие один в другой метафорические образы — носители огромного внутрипоэтического пространства — непрерывными потоками устремлены друг к другу, сталкиваются и исчезают, чтобы дать дорогу новым страшным, кровавым, отмеченным смертью образам: «Европейский материк сгибался под тяжестью обвившего его чудовища, набухшая земля едва успевала принимать мертвых, не переваривала кладбища, рвала кровью, дыхание останавливалось, готова была разнести небесную подушку и исчезнуть где-нибудь в глубокой, глубокой дали, за пределами света».

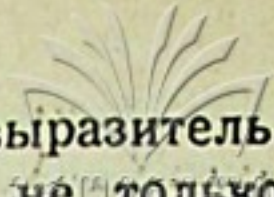
Земля, колеблемая предсмертной энергией тоталитарных империй, «сорвалась с оси», «не может нести бремя и отчаянно надрывается на разоренных путях истории». В гуле зла веков слышно и жалостливое обращение поэта к сбившемуся с пути грузину: «Там, у входа в мечеть, преклонишь колени ты, сменивший веру, твоя мать-христианка похоронена в Месхети». Отсутствие родины означает исчезновение того простран-



ства, без которого человек в абсолютном одиночестве остается перед беспредельностью мира. Вспомним блестящий образ расставания с родиной, данный нам Ильей Чавчавадзе: «Вы всегда будете со мной, как мое сердце с вами, о горы, слившееся с природой» — и сравним его со строками стихотворения Нико Самадашвили: «Страдание как дым заполняет мою душу, повсюду камни, камни пустыни, я хожу по этой стране, будто следую за собственным трупом». Герой поэзии и прозы Нико Самадашвили почти постоянно испытывает недостаточность материального пространства, отчуждение от него. «Неогражденные небесные дворы» видит лишь упорно вглядывающийся в беспредельность глаз (двор означает ограниченное пространство, границу быта, но если двор не огражден, он теряет свою функцию. Этот образ указывает в то же время на безграничность и открытость увиденного с земли пространства). Это точнейший образ, свидетельствующий о внутренней сумятице. Ощущение духовного единства с космическим пространством достигнуто за счет акцентирования дискомфорта бытия.


Все, что принадлежит земле, в то же самое время является и частью бесконечного пространства: «Из старых пещер вырывался непрерывный свист в дырявое огромное пространство» («старый» — признак времени. Пространство выражено метафорой времени). Дырявое, огромное — те характерные черты, лишаящие пространство материальности. По существу, эти пещеры даже не части материального пространства, они черные дыры беспредельности, вечности. Не имеет границ и вышеприведенный образ пространства, в котором «неогражденные небесные дворы подметают верхушки высоких деревьев». В таком же бесконечном пространстве течет и время: «Века, идущие по столетним дорогам, хрипят как больные».

Земля сбилась с пути. Она «бежит от лживых страниц истории». Насильно «связанная» историей, она теряет естественную траекторию движения. Лишь взгляду волшебника замечен малейший шорох мира во всем пространственном и временном разрезе его бытия: «Кто-то смотрел с дальних рубежей мимолетности, он был свидетелем многого, он знал... Он и сейчас смотрит. Это — кудесник, живущий между началом мира и мимолетностью». Затем образ кудесника становится еще более странным и почти полностью лишается реального восприятия: «Тело его в блистающем чистотой мире похоронят бледные вихри». Здесь необходимо сказать несколько слов о художественном языке Нико Самадашвили. Метафоры Нико Самадашвили необычно расширяют семантическое поле слов и предложений. Самые необычные предикации придают им не-



обыкновенную поэтическую экспрессивность и выразительность. Поэтический язык Нико Самадашвили есть не только плод «владения истинным грузинским языком». Своей образностью и глубиной он являет собой таинственное слово, не только запечатляющее, но почти всегда одновременно указующее. Благодаря своему умению подбирать ареал слов, Нико Самадашвили владеет особым даром создания таинственного пространства. В этом пространстве нет места обычным явлениям. Единственная его функция — быть поэтическим пространством. К примеру, «блистающий чистотой мир» — это мир мертвых. Здесь не рождаются, сюда попадают уже мертвыми — из бесконечности, уже покойники — для жизни. Тело кудесника несут стихийные силы. Таинственные, трепетные, удивительные образы траурной процессии вызывают чувство трагического внутреннего единства человеческой души со всем космосом. Признак предмета одного класса беспрепятственно распространяется на другой, совершенно отличный: «Смерть присутствует на похоронах лишь из чувства вежливости», покойника несут или «бледные вихри», или «одинокая метель». И вот Нико Самадашвили конкретизирует образ кудесника: «Вновь воздвигают на Голгофе тяжелый крест, как вечного заложника... Христос или Будда? Или поэт, творец, которого мы сразу не узнаем в экспрессивнейшем восклицании: «Кто звал меня с земли? Что хотят от меня?» Именно он герой прозы Нико Самадашвили — поэт, кудесник, творец — вечный наблюдатель «ворвавшихся на землю туманных веков». Мистерия распятия — мистерия бытия кудесника и творца.

Прозу Нико Самадашвили характеризует необычный свет поэтического видения и глубины поэтического настроения. Как поэт, он чувствовал и видел вечность и мимолетность, и попытка поместить его в рамки рационального эстетизма несомненно отделит нас от истинной сути его творения. Его герой, устремленный в вечность, «гость» на земле или «заложник» беспредельности. Его скитаниям присущ естественный артистизм, иногда деформированный конвульсиями внутреннего возбуждения, но тем не менее естественный, не развращенный рациональной умеренностью и равновесием. И мысль его кружит вокруг одного: «Осторожней, пусть мимолетность не преследует тебя, иначе она прикончит тебя на своих сырых стенах!» — предупреждает он своего двойника. «Оводы мимолетности отравили мозг, сердце-то было в порядке. Мозг сгубил и Христа, и Будду! Мозг, воющий над несчастным сердцем как чудовище, притаившееся внутри глаз и плетущее в черепной коробке сеть мыслей-сплетниц».



Основные плоды поэтического мироощущения Нико Самадашвили собраны, и раскрываются причины его душевной трагедии: «Оводы мимолетности отравили мозг» — страх смерти отравил человека и заставил отказаться его от души, чувства, веры. Человек, оставшийся один на один с мимолетностью, без сердца, с одним лишь разумом — обречен. Вот и метафоры обреченности: тусклый, щелистый, продуваемый вихрями мир, солнце, как будто навечно ушедшее за тьму, и «на голом утесе этой тьмы едва мерцающий умопомрачительный свет». Мировоззренчески здесь нет существенного отличия от его поэзии. Нико Самадашвили стихийно религиозен, т. е. он мистик. Говоря иначе, религиозен не по своему мировоззрению или исповедальности, а благодаря поэтическому восприятию мира. Религия для него производное человеческого мозга. Вера заключенным разумом навечно «пригвождена к стенам храма и, как мох, сплелась со страстными постояльцами мимолетности». Поэтому храм «дремлет, как больной раб», он «сбившийся с пути заговорщик — застрявший в чередѣ веков». Храм — часть щелистой, истощенной земли (именно материальная часть, а не духовная), ставшая на службу мимолетности, царство иссякшей веры. Подобный ряд метафор (сбившийся с пути, отставший, застрявший в чередѣ веков, покрытый сумерками, выцветший, обросший мхом) указывает на причастность религии к мимолетности. Бог-мученик — взятый мозгом в заложники бог: «Какая-то мука накрыла изъеденный скелет Сиони, как грязью облила его своей желчью и, последним ублюдком христианства, оставила нам огромную распятую куклу». После этой ницшеанской медитации прислушаемся к мировоззренческой оценке явления: «Причина трагедии христианства заключалась и в том, что оно так и не смогло приручить смерть». Нико Самадашвили связывает бесплодность религии с бесплодностью веры современного человека. Но только разумом. В основе нашего национального культурного сознания — кровь, пролитая за Христа, и в высшей степени национальное и трагическое содержание религиозно-поэтических образов Нико Самадашвили идет из глубин этого сознания: «слезы Нико, обломки разрушенного креста» или «капли слез, собранных в ладонях отвернувшихся мучеников...». В этих образах, мгновенно объединенных трагическим чувством предка и потомка, возникает свет той веры, которая обязывала обреченных на гибель монахов Гареджи завершить богослужение. Величие трагического момента, уничтожающего все времена, восстанавливает это единство. Восстанавливает та тайная духовная энергия любой веры, которая для Нико Самадашвили

равноценна поэтическому вдохновению и в которой в равной мере сияет «огонь египетских жрецов» и «косое пламя свечей изгнанных христиан». Поэт и здесь идет вслед за мимолетным и вечным, и здесь, приложившись ухом к земле, слушает «прислушивание разбитого молотом зла времен», чтобы ощутить сохранившуюся частицу религиозного возбуждения. Ищет и находит это в «высеченных надписях на камнях Сиони...», «в печальной улыбке зодчего», оставшейся «на скульптуре быка с белым пятном на лбу». Именно поэтому поэт разделяет судьбу кудесника, как и он, «заложника вечности у мимолетности», именно поэтому «Богоматерь, опершись левой рукой о колыбель поэзии, пела колыбельную, и ножки колыбели подпевали ей».

«Встречи и сожаления» — удивительный, яркий калейдоскоп образов и картин, поэтических восприятий и чувств. Природа этого калейдоскопа весьма своеобразна. Она напоминает беседу гостей из разных миров, а точнее — это беседа путников вечности. У этой прозы есть свой слушатель. Именно слушатель, ибо в ней чувствуются ритм, интонационные ударения, паузы — молчание, от избытка чувств подступившее к горлу, успокаивающее мятежное слово. Необычное обилие слов создает ощущение заполнения ими щелистого мира. Здесь необходимо еще раз напомнить, что развитие действия не является принципом этой прозы. Решающее для автора — момент фиксации, улавливания поэтического чувства. Мир в это мгновение дается раз и навсегда. Поэтическое видение интраверстно, а результат этого видения с самого же начала существует в законченном виде, а не в процессе развития. Аналогичную функцию сюжетного развития действия выполняет здесь процесс накопления духовного опыта, отраженный в метафоре. А это означает, что время как форма внутреннего опыта дается не во внешнем, но во внутреннем ракурсе (т. е. дается не пространственное изображение хода времени, а именно вертикальная иерархия чувств, прочитываемая в психолингвистическом изображении метафоры Нико Самадашвили). Известно, что один из принципов создания эстетического образа подразумевает его завершенность во времени, но лишь формально. Потенциально же — незавершенность возможных смысловых значений и туманность образа. Смерть дает эти эстетические рамки человеческой жизни, а движению сознания — замыкание во времени, или превращение в прошлое. А это означает, что каждое явление, предмет, человек после завершения реальной жизни носит в себе потенцию новой, эстетической жизни. В процессе эстетического воплощения воз-


возможность, заложенная в явлении, становится художественной реальностью. У Нико Самадашвили мир пребывает на грани превращения в прошлое. Не только эмоционально, но мировоззренчески и эстетически. Веру сменяет религия, сердце — мозг, и что главное, поэт, умирая, в отличие от обыкновенного человека, который «умирает сам для себя», умирает для всего мира, и мир остается без его поэтического взгляда. Сам тот факт, что «Встречи и сожаления» стоят вне жанра, полностью закономерен, поскольку они фиксируют именно этот момент перехода. Миг преобразования, перерождения (ибо и человек — заложник, скитающийся гость, который должен уйти и, по существу, по всем признакам готов уйти — и пространство готово раствориться в бесконечности, оно испещрено дырами, изрыто, границы разрушены) возвращен и восстановлен в поэтическом чувстве, в поэтическом образе, т. е. сохранен для мира во времени, как эстетическая ценность. Таким образом, творческая сила — «доверие к миру» — вновь окутает поэтическим взглядом ограбленный, лишенный поэтической сути мир. Этот замерший мир и составляет мир поэзии и прозы Нико Самадашвили. Теперь понятно, почему зов поэта из беспредельности «Кто звал меня с земли?» уже не звучит патетически.

«Встречи и сожаления» — это острая тоска, плач по «гомону» в час прихода сумерек, по «первозданному счастью мира». Любая деформация социальной жизни — результат разрушения единства первозданного мира, иссякшего поэтического видения человека. В «Поэтических раскопках» писатель противопоставляет цивилизации, как хаосу, как непроходимой тропе, на которой заблудилось человечество, как отдалению от природного порядка. История — «хрип развалин», «шепот развалин». «Развалины кашляли где-то в загоне сумрачных веков, а мы думаем, что это история».

Поэт — маг, который должен раскрыть тайну мира, но человечество, зараженное рационализмом, уже не верит ему, как не верит в таинственность вообще. Сколь мистично это возвышение над бытием, жизнью, это «преодоление жизни», «преодоление мира», это вечное скитание по бесконечным дорогам мира: «Если не сможешь отыскать дорогу, ветры поднимут выше луну...» (образ мира, извечно ожидающего встречи с человеком).

«Поэтические раскопки» рождают поток удивительных поэтических образов от современности к генетической памяти, к бессознательному. В них взрывается заложенная в грузинском слове еще до пробуждения памяти поэтическая энергия:





Эти взрывающиеся заряды рассеяны в прозе Нико Самадашвили в виде стихов, вне этих вставок понять его прозу невозможно. Чувства Нико Самадашвили охватывают мир, они далеки от материального бытия ровно настолько, насколько молчание далеко от слова: «Давай, не издавай ни звука, и ты перешагнешь через миры». Он говорит: «Давай...», «срывайся», и его путь — это отмеченный роком путь к внешним мирам. Здесь — постоянное преодоление, прохождение пространства, преодоление границ света, разрушение временных границ, роковое подхлестывание поэтического вдохновения. Жизнь, зачатая в вечности, разрывает ее темный занавес, как крик петуха — тишину ночи. Рассвет рождается в ночи так же, как жизнь — в вечной, вневременной жизни. Холодная, звериная тьма — «светильники другого мира». За гранью мира — другой мир, за планетой — другая планета, «непроходимый строй планет»... Этот необычный распорядок мира заметен лишь душе поэта, созданной для полета в этих бесконечных пространствах, но запертой в закрытом сосуде, пораженной, испуганной и встревоженной его беспредельностью.

Связь стихов с минутными впечатлениями, с жизненными явлениями или настроениями, живые, осязаемые формы этой связи должны быть продиктованы не единожды высказанным Н. Самадашвили соображением, что ничто, а тем более поэт, не может существовать без живительных соков жизни. Внешний мир, который постоянно отрицает и отвергает внутренняя природа поэта, является его же частицей, рожденной в его глубинах и освещенной поэтическим вдохновением. Жизнь — необычный сплав прозы и поэзии. Печатью этой необычности отмечены персонажи прозы Нико Самадашвили — удивительная помесь добра и зла — вымазанные в грязи преходящности, неутомимые искатели добра и творцы постыдной любви одновременно. В этом водовороте мимолетности поэт — молчаливый наблюдатель чужой жизни, неустанный искатель поэзии в прозе жизни.

Нико Самадашвили удивительно ярко рисует бытовые картины с пирсмановскими контрастами и таинственностью, какой-то неземной верой и увлеченностью, рисует именно гостей мира, их открытое праздничное настроение, рисует грузина — неотъемлемую часть своего окружения, естественно произросшую из нее, взволнованный внутренней потребностью встречи с этими гостями. Промелькнувшие кое-где биографические моменты, спор с собственной душой, рождение и пробуждение поэтического «я» («ты во мне поешь, как церковная птичка»), удивительно материальные и в то же время таинст-

венные образы «болезни поэзией» обильно перемешаны с экспрессивными медитациями.

Заключительная часть «Встреч и сожалений» — картина жестокого циничного уничтожения творца. В образах «забитого камнями писателя», «рыдающей земли», «страны, лишившейся солнца» узнаются трагические результаты соприкосновения поэтической души с современной политической эпохой: «Двуглавый орел взмахивал крыльями, истошно клекотал, вонзив свои вероломные когти в смятую свободу». «Встречи и сожаления» заканчиваются на прерванной в пространстве и времени безнадежной ноте. Заканчивается необычная проза, полная горестных ритуалов превращения физического времени в поэтическое. Исповедь поэтической души — эманация поэтической энергии, оставшейся «вне стиха». Она начинается с весенней жары, грохочущей грозы и заканчивается описанием зимней холодной ночи, снежной метели. У человечества умирает еще один поэт, который «любил пространство, где паслись облака». Эпохой правит крайне обострившийся инстинкт «владения». Проза и поэзия Нико Самадашвили — последний протест интуиции «сосуществования» против этого инстинкта, фиксирующий собственное же бессилие. Он еще раз восстанавливает, признает нравственность человеческого бытия — порядок и гармонию, единство с миром. Это признание делается в онтогенетической форме состояния «сосуществования». Это же состояние отражает и литературный язык Нико Самадашвили, раскрывшийся в поэтическом времени и пространстве. Художественный язык Нико Самадашвили есть выражение внутренней речи, он настолько погружен в поэтические глубины, что осуществляет функцию коммуникации лишь на поэтическом уровне. Говоря иначе, этот язык — нечто переходное от внутреннего языка — к речи, от поэзии — к прозе. Ему не дано преодолеть эту границу из-за той внутренней поэтической энергии, которая запрещает ему преодолевать стихию поэзии. Он остается на границе поэтического и эстетического, как образец самобытности и неисчерпаемости внутреннего видения поэта.

Несколько слов о стиле мышления, характерном для литературы 20-х годов, явившемся плодом мифо-поэтической концепции эпохальных катаклизмов. Высказать подобное предположение нам позволяет грузинская проза 20-х годов, в том числе «Встречи и сожаления» Нико Самадашвили и рассказы безвременно ушедшего писателя тех лет Басила Меликишвили. Примечательно, что оба этих имени связаны с определенной системой мировоззренческих и литературно-эстетических

представлений и общим кругом духовных друзей. Эрекле Татишвили, Басил Меликишвили, Нико Самадашвили являлись членами этого круга, и потому не удивительно то, что, несмотря на значительное различие между ними, для всех троих одинаково характерно чувство трагизма человеческого бытия. Необычная образность поэтических образов, форма интимной доверительности миру, ощущение таинственности, вызванное холодным взглядом вечности, эстетизация и метафоризация восприятия — характерные черты их прозы. Их произведения, охваченные предчувствием космического разрушения, — это отмеченные печатью обреченности просветления поэтической души, почувствовавшей разрыв между человеком и миром.

Поэтический образ этого «распада» встречается в самом начале «Встреч и сожалений»: я и «я» — раздвоенная внутренняя суть человека превращается в образ собеседника и предстает во всем поэтическом мире Нико Самадашвили в виде образов друга, певца, старика или писателя. Если европейская эстетика XX века рождалась в недрах богемы, грузинское поэтическое мышление осуществляло эстетизацию собственной роковой истории, поруганной религии и разрушенной души. Эстетизм Нико Самадашвили отмечен печатью муки, поскольку мир для него превратился в «деревенское стадо, без погибшего пастуха». Именно этот обреченный мир отразился в его прозе и поэзии. Здесь и «полный орнамент храма», и «пьяные монахи», но это последние отголоски жизни, как будто случайно вырвавшиеся во всеобъемлющее безмолвие: «Молчали церковные колокола, овдовевшие в службах, за сотни лет утомленные звоном и мольбой». Над образами и мыслями Нико Самадашвили стоит «тьма при жизни выдохшегося поэта», во все вторгается обезличенный, развращенный, бесформенный быт. В нем нет места поэзии, она создается в полной идеальной тишине: «Пой, пока ночь тиха, пока спят ураганы...» Все сочинение — это сборник исповедей, если убрать из него диалогическую форму как внешнюю форму доверительности, останется лишь жгучая и взволнованная мысль поэта о самом себе, бытии, поэзии и религии, жизни и смерти. Именно так должны мы воспринимать «роман души» Нико Самадашвили.



## ИСТИННЫЙ СЫН ГРУЗИИ

(К 125-летию со дня рождения Тэдо Сахокиа)

**ТЭДО** Сахокиа принадлежит к кругу грузинской интеллигенции, которая вышла на общественную арену в 1880-90-е годы и посчитала своим долгом следовать славным традициям Ильи Чавчавадзе и других выдающихся патриотов XIX века.

Т. Сахокиа отличала особая любовь к грузинскому быту и культуре, грузинскому слову. Из современных ему этнографов, изучавших традиционный быт нашей жизни, он, пожалуй, был одним из первых по своим знаниям и таланту.

Тэдо Сахокиа объединял в одном лице этнографа, фольклориста, лексикографа, писателя, переводчика и журналиста. В грузинской периодике постоянно печатались его критико-публицистические статьи и этнографические исследования. Вместе с тем Т. Сахокиа был самоотверженным и активным участником национально-освободительного движения.

В бытность свою в Париже Т. Сахокиа изучает этнографию и методы полевых работ сперва в Сорбоннском университете, а затем в Высшей антропологической школе. В одном из своих сочинений автобиографического характера Тэдо Сахокиа пишет: «После осмотра мировой выставки, осенью, я поступил в Высшую антропологическую школу, основанную при Антропологическом обществе известным антропологом Броком, где преподавали такие светила антропологической науки, как Шарль Летурно, Андрэ Лефевр, Л. Мануврие и др. Эти четыре года были лучшими годами моей жизни». В Париже Т. Сахокиа участвовал в еженедельных экскурсиях, устраиваемых де Мортилье. Он ознакомил французов с грузинским бытом, культурой, грузинским фольклором. Сделал в Антропологическом обществе несколько докладов, в том числе о грузинской народной лечебной медицине — «Оспа в Грузии». Собранный им материал на эту тему, которому, к тому же, дается научная оценка, привлёк внимание французов

и был опубликован на французском языке. Именно после этого Тэдо Сахокиа был избран членом-корреспондентом французского Антропологического общества.

В этот период Т. Сахокиа публикует ряд значительных очерков по этнографии, фольклору как за границей, так и на родине, которые впоследствии были изданы в книге «Этнографические статьи» (1956).

Замечателен очерк Т. Сахокиа «Путешествие — Гурия, Аджария, Самурзакано, Абхазия» (1950). «Автор в этом труде выступает не простым собирателем фольклорно-этнографического материала, рассказывающим о религиозных верованиях, нравах и обычаях народа, хозяйственном укладе, образе жизни и быте. Анализируя эти явления, он делает соответствующие выводы и открывает новое. Этот сборник путешествий — своего рода летопись той поры, не похожая на старые летописи, отражающая жизнь и характер народа. Вместе с тем, судя по очеркам, автор, по выражению грузинского ученого С. Цаишвили, — «прекрасный мастер документальной прозы». В редакционной статье, предпосланной к «Путешествиям», выдающийся грузинский ученый, этнограф Георгий Читая отмечает, что Т. Сахокиа своим бескорыстным и самоотверженным трудом сослужил грузинской этнографии большую службу. Путешествуя вместе с его героем, мы знакомимся с живой действительностью, изобилующей новыми, неизвестными до того в литературе этнографическими фактами и особенностями.

Тэдо Сахокиа был замечательным собирателем этнографических коллекций. Эти коллекционные комплекты, составляющие органическую часть этнографической работы, хранятся в Государственном музее Грузии (Тбилиси), русском Этнографическом музее (Петербург), Историческом музее (Москва), музее Антропологического общества Франции (Париж).

Описанные Т. Сахокиа этнографические факты и явления, собранные им коллекции дают исследователю возможность по-новому осветить ряд необоснованно решенных в прошлом вопросов. Для иллюстрации вышесказанного приведем пример: каменная ступа — предмет, очищающий зерно (просо, кукуруза, рис, оркиш, пшеница) от шелухи, считается в западной научной литературе достижением индоевропейских племен. Однако ряд грузинских ученых пришли к выводу, что она происходит из культурной среды Грузии и Кавказа и оттуда уже проникла в другие страны.

Весьма значителен историко-этнографический экскурс Т. Сахокиа в область мегрельского обычая «скуаш миторги-

напа»\*, сравнительные материалы, исторические данные и выводы автора. «Скуаш миторгинапа» подобен обычаю одного из африканских племен, именуемому в литературе «кувада» («вылупливание»). «Кувада» был известен предкам современных мегрелов — тибаренам, современникам Аполлония Родосского еще в III веке до н.э. Тут же Т. Сахокиа приводит цитату из «Аргонавтики» Аполлония Родосского, где описываются роды, симуляционные действия мужа и некоторые другие интересные обычаи, засвидетельствованные Страбоном у испанских иберов. Этот обычай встречается и поныне в Бискайском ущелье. Подобные совпадения в области бытовой культуры басков Испании и иберов Кавказа имеют немаловажное значение.

Обычай «кувады» выходит за рамки узко этнографических интересов и связан, с одной стороны, со сложными вопросами этногенезиса, с другой же — с такими же сложными проблемами периодизации общественного развития (Г. Читая).

Столь же значительно и обнаруженное Тэдо Сахокиа весьма оригинальное и уникальное орудие труда — «шнакви». Оно было предназначено для сбора хлебной культуры определенного рода — оркиша и пшеницы. Оркиш — нечто среднее между диким и культурным видом, это указывает на то, что наша страна — один из мировых очагов одомашнивания хлебной культуры, а шнакви — орудие, аналог которому можно найти лишь в Астурии — Басконии, предок серпа. Не менее важное значение имеет и другой экспонат Т. Сахокиа, хранящийся в Государственном музее, — «гвабанаки» — войлочная накидка пастуха, использовавшаяся и как дождевик. Подобную одежду в Черкесии носили представители высокого сословия. В России и на Украине она сохранилась под названием кабеняки. В Венгрии же богато разукрашенная сумка пастуха называется «гобеняка». Примечательно, что слово «гвабанаки» встречается в древнегрузинском языке. Значение этого экспоната с культурно-исторической точки зрения очевидно.

Одни лишь названия трудов Т. Сахокиа свидетельствуют о широте диапазона его интересов: «Как воспитывали в старину», «Евреи Кавказа», «Швейцарское село», «Просо и кукуруза», «Арабская легенда о вине» и др. И какого бы вопроса

---

\* Обычай, восходящий к глубокой древности, заключающийся в том, что на коленях бездетной жены рожала другая женщина и младенец считался сыном бездетной.

он ни касался, исследования его отмечены глубоким знанием предмета и общей эрудицией.

Т. Сахокиа оставил нам огромное наследство и в области лексикографии. Книга «Грузинские образные слова и выражения», изданная в 3-х томах почти 40 лет назад, содержит богатый и очень интересный материал с точки зрения не только лексикологии, но и этнографии. Трудно переоценить его сборник «Грузинские пословицы» (1967). Им собрано и классифицировано около 7000 грузинских пословиц. Это самый полный и значительный сборник — неоценимый вклад Т. Сахокиа в дело собирания фольклора. Надо сказать, что он перевел грузинские пословицы на французский язык, стремясь познакомить европейцев с грузинской народной мудростью.

Тэдо Сахокиа был замечательным переводчиком, он принадлежал к кругу журналистов и переводчиков, сотрудничавших с «Иверией». Переводил с французского, итальянского, английского, болгарского и русского. Среди его переводов — произведения Бокаччо, Мопассана, Гюго, Вольтера, Золя, Гарибальди, Марка Твена, Андерсена, Анри Барбюса, Октава Мирбо и других. Переводы Тэдо Сахокиа выполнены удивительным по художественности и богатству языком, с большим тактом и вкусом. Достоинство и своеобразие переводов Тэдо Сахокиа еще не оценены должным образом.

В своих очерках и публицистических статьях Тэдо Сахокиа выявляет конкретные факты явного беззакония, творимого царизмом, его русификаторскую и колонизаторскую политику. Из-за своих политических взглядов он неоднократно подвергался аресту и высылке.

В 1890-х годах Т. Сахокиа принимает активное участие в общественной жизни Сухуми. Со второй половины 1890-х годов царское правительство усиливает в Абхазии колонизаторскую политику. На свободных землях Абхазии селят людей разных национальностей, притесняя коренное население, — грузин и абхазов, искореняют грузинский язык в церквях и школах. Главный управитель Голицын и экзарх Алексей, обращаясь к обер-прокурору Синода, писали, что «желательно было бы избавить сухумскую епархию с ее преобладающим абхазским и русским населением от крайне нежелательного грузинского влияния», и с этой целью было бы полезно присоединить маленькую и многоязычную сухумскую епархию к Кубанскому краю. (Центр. архив Грузии, ф. 37, дело 2707, 1—18). Как видно, именно в это время в Абхазии — Самурзакано организуется группа грузинской интеллигенции, поставившая своей целью защиту грузинского языка и куль-

туры от нападков царских чиновников. Тэдо Сахокиа был одним из руководителей этой группы, которую царизм называл «грузинской партией», притом самым влиятельным, деятельным, смелым. Он боролся с царскими чиновниками словом — на публичных собраниях, вскрывал их черносотенные дела в статьях, публиковавшихся в местной и столичной прессе.

Т. Сахокиа рассказывал в них, что царское правительство заселяет абхазские земли преступниками и сектантами из российской глубинки, закладывая основы новой русской колонизаторской политики.

Тэдо Сахокиа выделялся и своими личностными качествами. Он удивлял всех объективной и беспристрастной оценкой явлений. Каждый час и день своей жизни он отдавал служению родному народу. Словно для того и был рожден, чтобы делать добрые дела. К счастью, он многое успел, и в 88 лет, как человек, исполнивший свой долг, спокойно отошел в мир иной.

Около двух лет назад в селении Хета — родном селе Тэдо Сахокиа — по почину местной интеллигенции был создан Дом-музей его имени. Мы надеемся, что этот музей, наряду с Институтом рукописей и Литературным музеем, в которых хранится его архив, сделает все, чтобы творения этого замечательного сына Грузии стали достоянием широкой общественности.





# ТАЛАНТ И ЖИЗНЬ—НАРОДУ И ОТЕЧЕСТВУ!

ЮБИЛЕЙНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИМ  
ШЕСТИДЕСЯТНИКАМ

Дорогие друзья!

Я глубоко уважаю и очень ценю истинных грузинских писателей всех поколений, но сегодня я обращаюсь к вам, шестидесятникам нашего столетия. Я приветствую каждого в отдельности и все литературное поколение в целом.

Не случайно я обращаюсь к вам именно сегодня, 13 июля, в день рождения одного из талантливейших писателей и общественных деятелей вашего поколения, можно уже смело сказать, классика грузинской литературы XX века, нашего незабвенного друга Нодара Думбадзе.

Нодар Думбадзе вместе с вами прокладывал новые пути в грузинской литературе. Это был писатель-новатор, который вместе со всем грузинским народом всегда стоял на страже национальных интересов, приближая своим высокоталантливым творчеством наше общее светлое будущее — свободную, независимую Грузию.

Творчество Нодара Думбадзе — органичная, неотъемлемая часть национального движения. Мы все видим сегодня солнце свободы, которое так прекрасно нарисовал Нодар Думбадзе.

Мое приветствие обращено к поколению Нодара Думбадзе, ко всем тем, кто вместе с ним пришел в грузинскую литературу.

Ваше поколение, вышедшее на литературную арену в 60-е годы — одно из самых сильных в грузинской литературе XX века. Многим из вас в этом году исполнилось 60 лет. Многие уже перешагнули этот рубеж, некоторые, увы, не дожили до него. Утешением нам служит, как оказал один мудрец, то, что жизнь коротка, но искусство, творчество бесконечны.

Большое счастье быть грузинским писателем, достойным представителем одной из древнейших литератур мира. Еще большее счастье быть глашатаем свободной, независимой, демократической Грузии, художественным летописцем народа, принадлежать к той литературе, которая дала народу, миру Иакоба Цуртавели, Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Николаза Бараташвили, Илью Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Галактиона Табидзе, Георгия Леднидзе, Григола Робакидзе — бессмертное созвездие прозаиков и поэтов. Общественное назначение грузинского писателя и его ответственность перед народом исторически всегда были высоки. И ваше поколение остается верным этим национальным традициям.

Небеса избирают, а народ воспитывает меня... Ваше поколение выросло с этой верой.

Писатель действительно знаменосец народа. Его слово звучит, как горн. Так было на протяжении 1 500 лет, что существует грузинская литература. Так будет и в будущем.

Звание шестидесятника, разумеется, является приоритетом классиков XIX века, но и XX век имеет своих шестидесятников. Сегодняшние шестидесятилетние шестидесятники — это поколение, которое иногда называют и авторами «Пирвели схиви» и «Цискари»\*.

Первый луч, по моему мнению, это не только художественная метафора, но весьма глубокая, объемная и мудрая формула.

Правда, с 60-х годов по нынешние дни основные произведения грузинской литературы создавались не только вашим поколением, есть и другие литературные силы, но ваш вклад, вклад шестидесятников XX века, уникален.

Ваше поколение вместе с другими поколениями прошло весьма сложный и противоречивый путь борьбы за национальное освобождение, творческую свободу.

Сегодня в свободной Грузии существуют и творческая свобода, и свободная пресса, радио, телевидение, издательства.

Я верю, свободный грузинский интеллект, талант и творческая энергия могут сотворить чудеса в области художественного мышления.

---

\* «Пирвели схиви» («Первый луч») — студенческий литературный журнал, издаваемый Тбилиским университетом.

«Цискари» («Заря») — литературно-художественный журнал.



Вы сделали многое, но народ ждет от вас большего. Кому Бог дал многое, с тех больше и спрашивается...

Несмотря на свою занятость, я всегда был вашим читателем и останусь им навсегда.

Многие, читая ваши сочинения, знакомясь с вашим творчеством, удивляются — их словно не коснулась рука имперского режима. Словно ваши произведения созданы в свободной Грузии.

Возможно, сегодняшняя оппозиция и не знает, но вы-то, шестидесятники, прекрасно помните, что мы, группа грузинских руководителей, и во времена империи помогали вам как могли — несмотря на строгий имперский диктат, у вас была творческая свобода, грузинские руководители способствовали подъему всего национального, истинно грузинского не только в литературе, но и в театре и кино, живописи, музыке, архитектуре, во всех отраслях науки и искусства. Вы знаете об этом. Я говорю для тех, кто этого не понимает, кто этого не увидел.

Мы все вместе принадлежим большому национальному движению.

Мы никому не позволим «приватизировать историю». История народа принадлежит всем, всему народу, а не отдельным политическим группировкам.

Благодаря удивительной способности слова и таланта, литература сама создает мир свободы. Ваша художественная свобода подготовила наш народ к независимости и демократии. Поэтому понятие национального движения в этом контексте намного шире и глубже, чем традиционное, узкое его понимание. В национальном движении участвовали все, кто защищал конституционный статус грузинского языка, кто вместо имперской политики в сфере литературы и искусства проводил грузинскую, национальную политику, защищая памятники культуры, истории, архитектуры. Формы участия в национальном движении многообразны.

И мне вместе с другими патриотами старшего поколения выпала честь участвовать в 50—60-е годы в основании и защите «Цискари» и других изданий, в утверждении конституционного статуса грузинского языка. Мы поставили памятник грузинскому языку и «Дэда эна»\*.

---

\* «Дэда эна» — учебник грузинского языка, составленный выдающимся грузинским просветителем и общественным деятелем Иакобом Гогешашвили.

Каждая эпоха по достоинству оценит вашу творческую деятельность. Главное в том, что ваш вклад в грузинскую литературу — вечная принадлежность нашего народа, и последующие века и поколения скажут о вас свое слово.

Сегодня я вместе с вами хочу приветствовать ваши старшее и младшее поколения, весьма интересных и талантливых представителей нашей литературы.

Трудно писать стихи в стране, давшей авторов «Витязя в тигровой шкуре», «Мерани», «Рассвета», «Синих коней», трудно создать прозаические произведения на языке «Отаровой вдовы», «Змеиной рубашки», «Десницы великого мастера».

Однако вы достойно говорили и говорите то, что у вас есть сказать.

Вы счастливое поколение, поскольку не только дождались рождения свободной, суверенной, демократической Грузии, но и внесли в дело ее создания достойный литературный и гражданский вклад. Радует и то, что сегодня вы переживаете пору творческой зрелости и активности. Я верю, что вы своим трудом способствуете обогащению грузинской литературы рубежа XX и XXI веков.

Грузинская литература должна выйти на мировую арену.  
Дорогие друзья!

Велика ваша духовная и историческая миссия. Вы создадите новые художественные и эстетические ценности. Вы можете заставить страну плакать или осушить ее слезы. Вы хорошо знаете, как важна сейчас правильная национальная, нравственно-психологическая ориентация. Вы являетесь выразителями гуманистических идей народа. Я попросил бы вас, чтобы силой своего таланта, своими художественными произведениями вы пробуждали в народе еще большую любовь к грузинской морали, обычаям, вере, законам, традициям, семье и государству. Многие из грузин еще не осознали, что они живут в своем национальном государстве.

Как вы знаете, правовое государство, гражданское общество в первую очередь подразумевает свободу, конституцию, законность и порядок, а не анархию и хаос, как это представляется некоторым. Выступать против закона и порядка означает выступать против независимости Грузии. Сознание этого надо воспитывать в каждом человеке.

Законы Хаммурапи и книга «О духе законов» Монтескье имели в свое время для цивилизации такое же значение, как эпос о Гильгамеше или «Война и мир» Толстого. Одни совер-



шенствовали правовое мышление человечества, другие — художественное мышление.

В Евангелии сказано, что вначале было Слово, и это Слово — Бог. По этому поводу один мыслитель сказал так: мне кажется, вначале было и слово, и дело. И я придерживаюсь такого же мнения.

Ваше слово — то же дело. Слово — первейший элемент литературы.

Каждый из нас должен делать свое дело.

Борьба за нравственное, интеллектуальное, культурное, духовное совершенствование человека, нации есть наша общая цель.

Я взял в руки перо не только для того, чтобы отметить вашу юбилейную дату, хотя это и приятная миссия, но меня больше волнует другое: боли, проблемы народа, литературы, писателей вашего поколения, ваше отношение и отношение всех писателей к тем историческим процессам, которые происходят в Грузии сегодня. Формируется новое государство, новое общество, новая экономика, новая культура, гражданин новой формации. Душа человека переживает катарсис, духовная культура должна войти в фазу ренессанса. Все это должно найти полное отражение в литературе и искусстве.

Галактион как-то сказал (правда, сказал о другой эпохе): никогда не было другого двадцатого столетия. Я бы сказал, никогда не было другой такой Грузии, какую мы видим на исходе XX столетия. Ваши слово и мысль должны воссоздать ее художественный образ для будущих поколений, для грядущих веков.

В сегодняшней, плюралистической Грузии, где посредством массовых средств коммуникации, к несчастью, почти одинаково распространяется и правда, и ложь, ответственность современного писателя перед народом, его настоящим и будущим велика. Его правдивое, объективное, взвешенное слово в грядущем будет на вес золота.

Владеть своими чувствами, взвешивать слова, проверять мысль, говорить мудро и вдумчиво дано лишь большому, серьезному писателю.

Дорогие друзья!

Вы обладаете своим мировоззрением, яркой писательской, оригинальной индивидуальностью, собственным стилем, манерой, интонацией, собственным лицом, занимаете определенное место в национальном движении, литературе и истории.

Еще раз приветствую и поздравляю каждого из вас и  
ваше поколение в целом с днем рождения.

Моего большого друга Нодара Думбадзе, единомышленника,  
как вечно живого, я также поздравляю с днем рождения,  
с осуществлением его мечты — свободой и независимостью  
Грузии.

Ваши талант и жизнь принадлежат народу и отечеству,  
ваше искусство — настоящему и будущему.

Желаю вам новых творческих успехов.

С уважением,  
**Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ**





## ВСПОМИНАЯ УШЕДШИХ ДРУЗЕЙ

Нана КАНДЕЛАКИ

# Рядом с Нодаром

Нодар Думбадзе...

Сейчас это имя стало для всех грузин близким и каким-то родным...

С Нодаром я познакомилась в пятидесятые годы, совершенно случайно, даже неожиданно.

Я хотела купить в газетном киоске на Земмеле<sup>1</sup> газету «Ахалгазрда комунисти». Эта газета, редактором которой был ныне покойный Миша Какабадзе, была тогда очень популярна среди моих сверстников. Я протянула киоскеру двадцатикопеечную монету. Тот холодно отвел мою руку и многозначительно произнес:

— погоди, ты первая покупательница, и если я тебе дам сдачу, весь день пойдет насмарку. Пусть сначала купит газету кто-нибудь другой без сдачи, а потом ты. Вон какая очередь собралась! А ну-ка, у кого есть двушка?

— А почему у этой девушки день должен начаться с отказа? Дай ей десять газет, и дело с концом! — раздался чей-то голос за моей спиной.

Затем кто-то подошел к киоскеру, взял у него десять газет, одну протянул мне, остальные раздал стоящим в очереди и с улыбкой обратился ко мне:

— Не обижайся, сестренка, не стоят разговора эти двад-

---

<sup>1</sup> Старое название квартала в районе метро Руставели, по имени основателя аптеки Земмеля.

цать копеек, видно, ты коренная, тбилисская, мы встретимся еще когда-нибудь, и тогда я возьму тебе «убыток», а сейчас у меня в кармане только одна двушка, извини... <sup>3619353</sup> <sup>308</sup> <sup>11101335</sup> <sup>308</sup> <sup>11101335</sup> мы кивнули друг другу, из очереди послышались слова благодарности.

Спустя некоторое время я возвращалась с вокзала с подругой, приехавшей из Москвы. Тогда еще не было столько такси, и мы сели в троллейбус. Я протянула мелочь кондуктору и услышала:

— За вас заплачено!

Конечно же я узнала того парня. Он протиснулся ко мне и протянул десять билетов.

— Говорил же я, что мы когда-нибудь встретимся...

— А ведь вы в накладе... Троллейбусный билет вдвое дороже, — улыбнулась я.

— Ничего. Такой убыток даже приятен. Я уже знаю, что вы Нана Канделаки. Разрешите представиться — Нодар Думбадзе, — сказал он и пожал мне руку.

Я тоже слышала о Нодаре и обрадовалась, что познакомилась с ним.

Позже мы с Нодаром работали в журнале «Нианги» («Крокодил»). Воспоминаний очень много, но я расскажу лишь несколько эпизодов тех лет, когда Нодар пришел в большую литературу...


Именно там, в редакции «Нианги», на глазах работающих в те годы в журнале сотрудников писалось большинство глав теперь уже знаменитых книг — «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце», «Солнечная ночь». Там же было написано множество юмористических рассказов, фельетонов, публикуемых им под псевдонимом — Джвебе Думбава.

В те годы на сцене театра Марджанишвили была поставлена инсценировка романа «Я, бабушка, Илико и Илларион», созданная Нодаром в сотворчестве с Гигой Лордкипанидзе. Спектакль с триумфом обошел театры не только Грузии, но и многих союзных республик, а также зарубежья.

Тогда в редакции «Нианги» собирались талантливые молодые писатели, художники, журналисты. Всех и не перечесать, но не могу не вспомнить хотя бы некоторых: Эдишер Кипиани, Нодар Чхеидзе, Миша Какабадзе, Гигла Пирцхалава, Дима Эристави, Джемал Лолуа, Алеко Санадирадзе, Жора Бединеишвили, Мурман Лебанидзе, Арли Такайшвили, Отар Челидзе, Заур Болквадзе, Филипе Беридзе, Алеко Шенгелиа...

Особенно мы любили посещения Нодара Чхеидзе. Нодар





был удивительной личностью и поражал своей начитанностью и страстью к полемике. Вот кто умел зажечь диспут и вовлечь в спор любого! Это были импровизированные литературные встречи, обсуждение того или иного произведения. Часто мы становились первыми слушателями еще не опубликованных произведений.

Когда на должность заместителя редактора «Нианги» вступил Нодар Думбадзе, его университетский друг Нодар Чхеидзе стал еще более частым гостем нашей редакции. Если случалось, Нодар не появлялся день-два, мы уже волновались. Каждый раз он приносил с собой какую-то своеобразную атмосферу свободы. Он как бы будил нас, давал стимул, вселял оптимизм, обладал большим интеллектом, и было чему у него учиться. Он вечно носил с собой книги, давал их нам почитать и тут же подсказывал, на что следует обратить внимание. Как он радовался интересному произведению! И не забывал позвонить автору и поделиться своими соображениями. Притом он не страдал отсутствием сарказма и остроумия.

Вообще в те годы шутки и розыгрыши в «Нианги» были нормой. И, пожалуй, чаще всего авторами их выступали оба Нодара.

Частенько заглядывал к нам хорошо знакомый всей литературной богеме тех лет книгоноша Рубен. Он приносил книги на разные вкусы, порой только что вышедшие в свет, но чаще редкие старинные издания. Причем, все он продавал почти за бесценок, мизер выгадывая для себя.

Однажды, когда в очередной раз к нам заглянул Рубен, буквально следом за ним вошел и Нодар Чхеидзе, как обычно с книгами под мышкой.

Нодар Думбадзе, мгновенно оценив ситуацию, сделал серьезную мину:

— Рубен-джан, сегодня очередь этого человека продавать тут книги, а ты приходи в другой день!

Чхеидзе оторопело уставился на Нодара, но вдруг его осенило, и он с улыбкой принялся раскладывать свои книги на его столе.

— На вид интеллигентный парень, и не совестно тебе мешать человеку в работе? Не знаешь, что ли, что это мой объект?! — с упреком посмотрел Рубен на Чхеидзе.

— Рубен-джан, на этот раз прости его, а потом мы и сами не допустим его конкуренции! — давился от смеха Нодар Думбадзе.



Рубен обвел нас недовольным взглядом и молча закрыл за собой дверь.

Вспоминается еще такой случай.

Нодар Чхеидзе по обыкновению пришел в редакцию, и мы принялись показывать ему новые юмористические рассказы, шедшие в номер. Вдруг открылась дверь, и на пороге появился Александрэ Чейшвили. Мы не смогли скрыть своего удивления, потому что он никогда не бывал у нас в редакции.

Батони Александрэ поздоровался с присутствующими, извлек из портфеля свой роман «Лело» и протянул Нодару Чхеидзе:

— Я искал вас. В университете мне сказали, что вы, вероятно, в «Нианги», и я направился сюда...

Нодар заволновался: «Не стоило вам утруждать себя, оставили бы книгу там, мне бы передали...».

— Поскольку я вам пообещал преподнести книгу, мне не хотелось оставлять ее другим... Я очень ценю ваше мнение, и почту за честь, если вы ее прочтете. Разве вас ждет не больший труд? — улыбнулся батони Александрэ.

Вот каким авторитетом пользовался в то время этот молодой человек, и как жаль, что слепой случай вырвал его из жизни совсем еще молодым, в сорок лет.

Последние главы романа «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодар Думбадзе писал, подстегиваемый журналом «Цискари». Нодар часто «простаивал»: то по делам редакции, то в беседах с друзьями, частенько заканчивающимися в какой-нибудь закуской.

— Нанаиа! Ты должна мне помочь, иначе опозорюсь перед «Цискари»... Перед читателями... — сказал он мне однажды.

— А что я могу?


— Привяжи меня к этому столу, надо же наконец заканчивать!

— А ты будешь послушным?

— Еще бы!

Я запирала Нодара в одной из комнат редакции «Молодого сталинца» (тогда так называлась газета «Молодежь Грузии»), и в свободное от работы время он там писал последние главы романа. Да, была у них одна такая комнатка на чердаке, которую мы называли «кладовая музыки».

Как только начинался разговор о закуской, Нодар в знак своего нежелания подмигивал мне, и я тотчас находила для него «срочное и неотложное дело», Нодар с извинениями вы-



проваживал ребят на перерыв и бежал в «кладовую муз»: писать, скорее, уже переписывать отшлифованные главы романа.

Но однажды он сделал мне знак, но затем, видно, поддавшись искушению, не обращая внимания на мои «неотложные дела», ушел с ребятами.

Через несколько дней снова пришли любители дискуссий, предложившие за столом прочесть новые стихи.

Нодар подмигнул мне, но я, как бы не замечая, вышла из комнаты.

Когда я вернулась, в комнате, кроме Нодара, никого не было. Он сидел за своим столом, уставившись на папку с материалами. Увидев меня, он отвел взгляд от папки и с упреком проговорил:

— Нанаиа.... Ты что, плохо стала видеть?

— Да.

— Поплакать, что ли, мне по-гурийски над тобой?<sup>1</sup>

— Плачь сколько угодно, мне-то что...

— Ты что, шуток не понимаешь?

— А мне не до шуток... Просто обидно, что ты стал таким слабовольным. Сюда приходит уйма народу! Нельзя же попадать под влияние каждого входящего. Как можно так транжирить время? Ты писатель и должен знать, другой не сможет сделать то, что должен создать ты. Береги время. Минуту, которая только что прошла, никакая сила не вернет.

— Я не слабовольный, просто я ленивый, — виноватым тоном уточнил он.

— Эта лень следствие безволия, разве ты не понимаешь?

— Ты права, да... То, что предназначено написать мне, другой не сможет, — проговорил он и задумчиво посмотрел в окно.

С утра лил дождь как из ведра. Было холодно, но в редакции «Нианги» этого не ощущалось, так как здание «Зари Востока» тогда прекрасно отапливалось. Все собрались в нашей комнате, работали над очередным номером журнала. Подошел перерыв, и ребята отправились завтракать в наш буфет.

В комнате осталась я читать редакционную почту.

Неожиданно открылась дверь и вошел Ниаз Диасамидзе,

---

<sup>1</sup> Гурийские плакальщицы славятся в Грузии.

наш автор. Был в Тбилиси такой необыкновенно остроумный, добрый и талантливый человек, так и не устроивший свою жизнь. А может, ему просто не везло, и он махнул на все рукой... Он был в коротком плаще, насквозь промокшем от ливня.

Ниаз поздоровался, разделся, повесил плащ на стул у батареи и уютно устроился в кресле, которое стояло за столом Мосэ Карчава, нашего ответственного секретаря. Он был в выходном костюме и выглядел очень импозантно.

— Что-нибудь не так? — с любопытством спросил он. — Почему вы так улыбаетесь?

— Напротив, вы очень мило выглядите и приятно видеть вас таким.

Ниаз с удовлетворением оглядел свой безукоризненный костюм и сообщил:

— Сегодня я приглашен на один «вариант»... Одна красотка обещала великолепный стол и изысканную публику. Я, конечно, не бог весть какой едок, но попасть в это «великосветское общество» все же интересно.

— А почему же тогда без галстука?

Ниаз посмотрел на рубашку и махнул рукой.

— Забыл, но в принципе... ненавижу галстуки и всякие побрякушки.

— Красивый галстук украшение костюма.

Ниаз снова поглядел на сорочку и неожиданно проговорил:

— Вы не обидитесь, если я на полчаса вздремну? Хочу, чтоб лицо было более спокойным.

— Да, пожалуйста, отдохните.

— Где тут пальто Нодара? — посмотрел он на вешалку. Я взглядом показала. Ниаз снял его и, вновь удобно устроившись в кресле, укрылся им с головой.

Вскоре вернулись ребята. И хотя лица Ниаза не было видно, Нодар его все-таки узнал и поднял шум, не перенесли ли, часом, «вытрезвитель» в «Нианги»?

— Я все слышу, Нодар, — послышался голос Ниаза из-под пальто.

— Для того и сказано, чтоб услышал. В чем дело? Ты бы хоть дамы постеснялся!

— Калбатони Нана мне разрешила, — опять подал голос Ниаз.

— Это правда, — подтвердила я.

— Ну, тогда спи, — согласился Нодар и показал жестом, что

гость под градусом. Я отрицательно покачала головой и нарочито громко сказала:

— Ниаз идет на день рождения и хочет хорошо выглядеть.

— Теперь замолчишь? — не выдержал Ниаз.

— В таком случае, мы не будем мешать, — проговорил Нодар и, достав из ящичка книгу, принялся читать. Мосэ тоже нашел себе дело, Гарри и Анзор вышли из комнаты.

Ниаз проспал примерно с полчаса, затем встал, надел плащ, раскланялся с нами и ушел.

Несколько дней спустя Ниаз опять появился в редакции. Преподнес мне букетик полевых цветов, а Нодару на стол положил два листа бумаги, пояснив, что это темы для карикатур, сел возле него и попросил сигарету.

— Лучше бы вместо этого букета ты купил бы для себя сигареты или на худой конец папиросы, — поддел его Нодар.

— И кто это выдумал, что он поэт? — вспылил Ниаз и выскочил из комнаты.

— Ниаз, ты куда? Я пошутил! — всполошился Нодар, но Ниаз и слушать не хотел. А на следующий день он опять пришел и торжественно положил на стол Нодара пять пачек «Примы».

— Ты что это, Ниаз, вообразил, что я так низко пал? — со смехом сказал Нодар.

— А ты не понимаешь, что значит «Прима»?! — пожал плечами Ниаз.

— Прима хорошее слово, но сигареты паршивые.

— Это уже не моя вина. Лично меня привлекло название.

— Да ладно, знаю я тебя... — сказал Нодар, но все-таки закурил, посерьезнел и заметил: — А ты здорово подобрал темы, покажи их батони Нико, он подпишет в номер.

— Не пойду! Если они тебе понравились, сам и показывай.

— Да пойми ты, я всего-навсего заместитель. Редактор подписывает журнал.

— А твой блат, как заместителя, не проходит? — саркастически улыбнулся Ниаз, прощально поднял руку и, бросив «пока», быстро вышел из комнаты.

— Жалко его до слез, — вздохнул Нодар, — он живет в каком-то другом временном измерении и происходящее воспринимает совершенно иначе... И ведь какой талантливый, а вот не везет ни в делах, ни в личной жизни!

— Да, невезучий он парень, — подтвердил Мосэ.

— А по-моему, он счастливее всех нас, вместе взятых. И знаете почему? Он свободен! Он пишет, поет и вообще делает



все, что ему по душе, то, что сам желает. «Судьба, судьба!» — кричим мы. Да, судьба ко многим благосклонна, но кто знает, уйдут везунчики из этого мира и даже не оставят хотя бы воспоминания о себе. А вот он оставит, потому что он — талант!

Нодар и Мосэ с изумлением уставились на меня. Мосэ как-то сгорбился, а Нодар, глядя в окно на Мтацминда, задумчиво проговорил:

— Может, ты и права. Но все же след везучего человека иной... — и взяв принесенные Ниазом листки, направился к редактору.

Ниаз и Нодар характерами отличались. Нодар хохотал над своими же шутками. Когда хохмил Ниаз, мы задыхались от смеха, а он оставался серьезным.

Ниаз уважал Нодара, ценил его талант, но никогда не восторгался им вслух. Бывало, придет в редакцию, посмотрит с улыбкой в сторону Нодара, и мы уже понимали, что он прочел какую-то вещь Нодара, и ему понравилось. Таким он был и по отношению к другим: к писателям, к музыкантам, к художникам. Он мог только воскликнуть: прочли, услышали, увидели то-то? Каково, а? И быстро покинуть нас. И нам становилось ясно — он в восторге!

Однажды утром, едва я пришла в редакцию, как батони Нико Швелидзе, редактор «Нианги», вызвал на пятиминутку всех: Нодара, Мосэ Карчава, Гарри Метревели, Анзора Табатадзе, Мишу Кухалеишвили, Нодара Малазониа. Тогда «Нианги» находился на пятом этаже здания «Зари Востока», и все сотрудники, кроме редактора и секретаря-машинистки, работали в одной большой комнате.

Я была дежурной по номеру и читала гранки.

Погруженная в работу, я едва услышала осторожный стук в дверь.

— Войдите, дверь открыта, — крикнула я, не отрываясь от работы.

В комнату вошел огромный дог и сел прямо передо мной.

Признаться, появление дога в редакции было неожиданным, и я возмущенно воскликнула:

— Эта редакция хоть и носит название животного, но тут пока что не зверинец. Что за безобразие?! Кто там, покажитесь!

— Калбатано Нана, извините, я хотел напугать Нодара, вот и пришел с собакой.

К тому времени Ниаз уже напечатал миниатюры, появи-



лись карикатуры на его темы, и мне подумалось, что совершенно излишне, чтобы об этом визите узнал редактор. Я дружески посоветовала ему побыстрее покинуть редакцию и вообще здание.

Ниаз моментально испарился вместе со своим догом.

Конечно же, я рассказала ребятам о случившемся.

Нодар захлебывался от смеха.

— Это я «спровоцировал» Ниаза! Мы поспорили на пять рублей, что он не появится в редакции с псом. Но вы свидетели, что я его не видел, и если он приведет даже десяток свидетелей, ни копейки не получит.

— Не знаю, как вы условились, но те пять рублей Ниаз получил от меня. Он сказал, что ты задолжал ему пять рублей, а ему срочно нужны деньги. Что мне оставалось делать...

Теперь уже рассмеялись ребята, мол, вот тебе в наказание.

Нодар поморщился, но сразу вернул мне деньги, разочарованно проговорив:

— Ну и везет же мне, на своих же шутках несу убытки.

Рабочий стол Нодара в «Нианги» стоял у большого окна, из которого открывался прекрасный вид на Мтацминду и церковь Святого Давида. Нодар любил смотреть в это окно и вполголоса декламировать строки из стихотворения «Рассвет» А. Церетели: «Задумалась Мтацминда, глядит на раннюю звезду, светило же своими лучами освещает могилу самоотверженного рыцаря...».

Однажды Гарри Метревели ему сказал:

— Когда ты читаешь Акакня, мне всякий раз кажется, что ты молишься.

— Так оно и есть... — ответил Нодар. — Для меня, как и для каждого грузина, Мтацминда и церковь Святого Давида — как некий иконостас... Посмотри, они как бы одно целое. Каким же тонким вкусом обладали наши зодчие. Ведь будь то маленькая сельская церквушка или прославленный монастырь — каждый в своем роде произведение искусства. И зачем я только поступал на экономический, я должен был стать архитектором!

— И что бы ты построил?

— Парк для детей...

Тогда нам это показалось несбыточной мечтой. И как хорошо, что еще при жизни Нодар стал основателем детского городка — «Мзиури».

Жене нашего художника Нодара Малазониа ночью стало плохо. На следующий день он грустно сообщил в редакции:

— Ночью Нане стало так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь.

— Представляю, как ты, наверное, с ума свел врачей своими причитаниями и вместо — вай дэда! (горе мне, мама!) кричал: вай Нана! — воскликнул Нодар.

— А что плохого, что я такой? — обиженно посмотрел на него Малазониа.

— Плохо то, браток, что наши жены теперь и от нас будут требовать такой же любви! — смеясь, обнял друга Нодар.

Роман «Я, бабушка, Илико и Илларион» должен был быть издан книгой в издательстве «Сабчота Сакартвело» (ныне «Сакартвело»). Нодар очень волновался, чтобы из романа ничего не вычеркнули, не заставили бы что-нибудь изменить.

И вот однажды к нам в редакцию пришел редактор книги — поэт Илья Хоштариа. Нодар настороженно уставился на него в ожидании «сюрприза».

— Хочу обрадовать тебя, оригинал уже отправили в типографию, — сказал Илья Хоштариа. — Молодец, хорошук книгу написал.

— Вы что-нибудь там изменили?..

— Ни одной точки и запятой. Все пошло так, как было представлено.

— Вы меня погубили, батоно Илья, — облегченно засмеялся Нодар. — Именно точки и запятые для меня самое уязвимое место... Как раз в этом я надеялся на вас...

— Не беда, читая эту книгу, никто и не вспомнит о каких-то там точках и запятых, — посерьезнел Илья Хоштариа. — Исправим в корректуре. Вот увидишь, какие посыпятся отзывы, рецензии. Критики ведь тоже люди!

Он оказался пророком: восхождение Нодара началось именно с этого произведения.

Летом 1962 года в Тбилиси несколько дней был папиросный дефицит, и курильщики рыскали по всему городу в поисках какого-либо курева.

Как раз тогда из командировки вернулся наш литработник Анзор Табатадзе и попросил меня спрятать в сейф привезенные им двадцать коробок «Казбека».



Прознав про это, Нодар написал на имя Анзора заявление, которое по сей день хранится в моем архиве:

Литсотруднику журнала «Нианги»  
тов. А. Н. Табатадзе  
от проживающего по ул. Анаг-  
ской, № 42

Н. В. Думбадзе

### З а я в л е н и е

Сызмальства подвержен тяжкому недугу — курению. Но в Тбилиси почему-то исчезли папиросы и я лишен величайшего удовольствия. Как мне стало известно, вы, будучи в провинции, свободно достали это проклятущее зелье. Покорнейше прошу выдать на мое имя одну коробку «Казбека». Ваше милосердие будет оценено мной по заслугам.

Н. Думбадзе.

Анзор ознакомился с заявлением и на уголке листка поставил резолюцию:

Тов. Нане Канделаки

Выдать Джвебе Думбава 1 (одну) коробку «Казбека».

А. Табатадзе.

6/II-62 г.

А то, о чем я сейчас вам поведаю, чистейшая правда, без капли вымысла.

Почти шесть месяцев продолжалась наша игра с Гурамом Хараидзе в «Буробана», по сценарию и режиссуре Нодара Думбадзе. «Буробана» пошло от «Буро», как назвал героя, курдского парнишку, Нодар.

Но у каждого начала есть свой конец, так что и эта шутка не могла быть бесконечной.

Вот как это было:

В редакции газеты «Молодежь Грузии» появился новый сотрудник. Я его не знала, но мне сказали, что он курд и зовут его Буро (то, что это был Гурам Хараидзе, я узнала шесть месяцев спустя). Гурам, как и сейчас, был смугл до черноты, сверкал белозубой улыбкой и угольно-черными глазами, ходил в неизменной красной клетчатой сорочке и вправду смахивал на курда.

Однажды, как обычно перед перерывом, к нам в комнату заглянул Буро, конечно же небритый, но на этот раз приодетый и аккуратно причесанный. На нем была подаренная мною красная в черную полоску рубашка.

Нодар покосился на него и с упреком сказал:

— Ты что, совсем совесть потерял, Буро?

Я не поняла, в чем было дело.

— Проголодался, кушать хочется... — виновато потупил  
взор Буро.

— Вот и изволь жить на свою зарплату литработника.

— Не хватает, — вздохнул Буро, — семья большая...

— Черт с тобой, на этот раз позавтракай за мой счет. Вчера я получил маленький гонорар. Анзор, Мосэ, пошли. А тебе принесу пирожки, — не оставил Нодар без внимания и меня.

— Тетя Наночка (так обращался ко мне после знакомства Буро), — я принесу вам пирожки, — заискивающе улыбнулся Буро.

— За мой счет, не так ли? А ты прыткий! Не понимаю, и за что только эта дама тебя так жалеет. Если дело в сиротстве, то я тоже сирота, — Нодар вышел из комнаты, за ним последовали Мосэ, Буро. Анзор остался, так как у него была срочная работа, и мы даже обрадовались, что остались в тишине.

Неожиданно распахнулась дверь, и я услышала разгневанный голос Жоры Бединеишвили — редактора «Молодежи Грузии». Я потому говорю, услышала, что, когда открывалась дверь нашей комнаты, она закрывала мой стол, и входящий видел меня только в том случае, если проходил в глубь комнаты.

— Гурам Хараидзе здесь не появлялся?

— Был, — коротко ответил Анзор, даже не взглянув в мою сторону.

— Куда он направляется, не сказал?

— А что случилось? — поинтересовался Анзор.

— Человек сегодня дежурный по выпуску газеты, из типографии звонят, спрашивают, а он... Неслыханная безответственность! До каких пор они с Нодаром будут дурака валять? — громко захлопнул за собой дверь Жора.

Анзор виновато уставился на меня, но я улыбнулась, и мы оба расхохотались так, что долго не могли успокоиться.

— Пойду скажу Гураму, что редактор его ищет, — сказал Анзор.

— Нет, я пойду.

— Ну и что ты ему скажешь?

— Напомню, что он дежурный и его ждут в типографии.

— Я тоже пойду, хочу увидеть их физиономии.

— Нет, ты останься, нельзя закрывать редакцию, Нодар и Мосэ тебе все расскажут в лицах.

Я направилась в буфет, открыла дверь и увидела своих ребят, аппетитно поглощающих сосиски с французскими булочками.

— Гурам Хараидзе, на выход! — строго и громко крикнула я.

Все присутствующие обратили свои взоры на меня, наверное, в ту минуту у меня было очень строгое лицо. А оторопевшие от неожиданности Нодар, Мосэ и Гурам вскочили и пристыженно уставились на меня. Неожиданно Нодар бросился ко мне, обнял, расцеловал и принялся упрашивать:

— Нанка, не обижайся, умоляю, мы пошутили, не сердись. Это моя вина, а то этот бедолага не посмел бы такого. Нам нравилось, что ты его жалела и верила в бедного курдского парнишку, так прекрасно говорящего по-грузински и пробивающего себе путь в жизни. Ну, посмотри на него, он просто сгорает со стыда.

— Без прощения о помиловании и говорить нечего, — нахмурившись, пробубнила я и, сказав Гураму-Буро, что его ждут в типографии, убежала.

Ни Нодар, ни Мосэ в редакцию в тот день не вернулись.

Когда на другой день я пришла в «Нианги», на моем столе лежал торт из кафе «Наргизи», а рядом — записка:

«Тетя Наночка! Надеюсь на Ваше великодушие и позвольте надеяться, что этим тортом я загладил свою вину. Ходатайствую перед крестным Нодаром в том, чтобы он счел игру оконченной. Навеки Ваш Буро, он же Гурам».

Я дождалась прихода ребят. Они увидели на столе торт с запиской, ознакомились с ее содержанием и развеселились.

— Bravo, Буро, поступил по-джентльменски! — сказал Гарри Метревели.

— Вот настоящий мужчина! — хвалили Мосэ и Марика Гвелесиани.

— Это, братцы, заказной торт, влетел, наверное, ему в копеечку, — захлебывался от смеха Нодар.

— Да, но до каких же пор любоваться нам этим тортом? Соня, принеси нож, и прикончим его, надо же его съесть, — забеспокоился Миша Кухалеишвили.

— Ишь, чего захотел, а разрешение получил от Наины? Может, она хочет отнести его домой, — паясничал Нодар.

— Издеваешься? Да что это он говорит, ребята? Нана, ты что, хочешь торт домой забрать? — округлились у Миши глаза.

— Преподнесли торт мне, чего ради его тут оставлять? — поддразнивала я Мишу.

Соня Цицишвили, смеясь, торжественно вручила Мише нож:

— Я разрешаю разрезать торт, но с условием, что половину оставим соседям, не так ли, Нана? Ведь ты их приглашаешь!

— Стойте, братцы! Если одна половина принадлежит Нане, следовательно вторая — мне, как сценаристу и режиссеру прекрасной затеи! — осенило Нодара. — Да, да, вторая половина мо-о-я-я! Знать не знаю никаких соседей!

— Да вы что, решили Буро оставить без кусочка торта! — воскликнул Мосэ. — Бедняжка наверняка стоит за дверью и ждет, когда его позовут.

Не успел он закончить фразу, как в комнату ворвался Гурам. Поднялся такой шум и хохот, что прибежали сотрудники соседней редакции. Нодар разрезал торт, я раздала его всем присутствующим на импровизированных бумажных тарелочках, и в мгновение ока торт был уничтожен.

— Это я виноват, разладил вам всю игру, — оправдывался Жора Бединеишвили.

— Ну что ты, «Буробана» уже затянулась... Велика сила юмора, и хвала не только тому, кто его задумывает, а тому, кто с пониманием и с чувством юмора отвечает улыбкой на улыбку.

Мосэ Карчава было поручено одно затянувшееся дело. Никак не удавалось примирение двух соседей, затеявших тяжбу с разменом общей коммунальной квартиры из-за капризов одного из них.

Однажды сей капризный гражданин снова наведалься в редакцию. При виде его Мосэ сокрушенно схватился за голову. Неожиданно Нодар приказным тоном довольно громко сказал Гарри Метревели:

— Сфотографируйте этого человека, и дадим в «Нианги» его портрет с объявлением: «Женихи, берегитесь дочери этого человека, чтобы не стать жертвой тестя-интригана!».

— Это проще простого, — ответил Гарри и, достав из

ящика своего стола фотоаппарат, сказал тому человеку: — Ну-ка, станьте к окну, чтоб лицо получилось четким. Мужчина вдруг побледнел и, закрыв лицо руками, взмолился:

— Нет! Только не это, не губите, ведь у меня четверо невест дома. Я согласен на все варианты размена квартиры, согласен...

— Сейчас даже Бог не поверит простым словам, как же мне поверить тебе. Ведь ты всю душу из нас вытряс. А потому напиши расписку.

Несчастный действительно сел за стол и написал:

«Только не выставляйте меня в «Нианги» на всеобщее обозрение, я соглашусь на все варианты соседа и хоть сегодня перееду из этой квартиры туда, куда он скажет».

Вскоре размен действительно состоялся, и сразу после того, как все завершилось, тот тип пришел к Нодару и попросил, чтобы на его глазах порвали расписку.

Нодар достал из ящика расписку, разорвал ее на мелкие кусочки и, улыбаясь, сказал:

— Будь добр, не муди больше воду в отношениях с соседями, не то Бог не простит ошибку мне и ты потеряешь хорошего защитника.

Однажды наш техредактор Миша Кухаленишвили позвонил Нодару домой. Время было уже за полночь.

Спросонья Нодар подумал, что что-то случилось, и здорово испугался.

— Я люблю тебя, Нодарна, что еще должно было случиться, — сказал Миша, который был навеселе, и, даже не дождавись ответа, повесил трубку.

В отместку Нодар решил не дать спать и Мише и через некоторое время позвонил ему.

— Большое спасибо, дорогой Миша, за то, что ты меня так сильно любишь, что даже ночью любовь ко мне не дает тебе покоя.

— Да, но... Неужели нельзя было поблагодарить утром, в редакции... — заворчал Миша.

— Я побоялся, чтобы моя благодарность не остыла до утра, к тому ж, если уж бодрствовать из-за любви этой ночью, то не будем спать оба.

Миша обезоруженно рассмеялся:

— Вот за то и люблю я тебя, Нодарна, что ты такой понятливый. Понятно?

— А что тут непонятного? Только Бога ради, если ты действительно меня любишь, полюби теперь кого-нибудь другого, пусть другой послушает твои ночные излияния, — сказал Нодар.

Стоял 1960 год.

Август был на исходе.

В редакцию поднялся Гурам Тиканадзе<sup>1</sup>. Он тогда работал в журнале «Дроша», а в свободное время любил бывать у нас.

— Ну-ка, устраивайтесь поудобнее, нианговцы. Я должен вас запечатлеть, только поднимемся на крышу, там больше света.

Мы как дети развеселились и обрадованно бросились на крышу.

Как раз в это время у нас находились Арли Такайшвили и Мери Цанава, сотрудница газеты «Молодежь Грузии». Наши две редакции были как члены одной семьи и в деле, и в веселье, и в горе, так что фотографироваться вместе было тем более приятно.

Ребята встали у дымохода, дескать, на фоне трубы создастся впечатление, что снимок сделан на пароходе. Началась кутерьма с выбором мест.

Нодар стоял в стороне и наблюдал за Мосэ, который шумел больше всех. Я подошла к нему.

— Смотри-ка на этих крокодилов (по-грузински «Нианги» — крокодил), что они творят, — проговорил Нодар.

Мосэ услышал и скороговоркой протараторил:

— Будто ты сам крокодил получше, — и позвал Гурама. — Что же ты, снимай скорей, а то кто-нибудь свалится с этой трубы, и потом хлопот не оберешься.

Мы с Нодаром расхохотались, а Гурам неожиданно повернулся к нам и сфотографировал. В тот день Гурам сделал много снимков. Утром он уезжал в Местиа.

— Хочу погулять на вершинах, давно не был в горах.

К концу дня он принес все снимки по одному экземпляру.

— На обороте напишешь, — сказал он мне, — сколько отпечатать, вернусь из Местиа и отпечатаю всем на память.

Ушел и... не вернулся.

---

<sup>1</sup> Известный альпинист, журналист, мастер фотоискусства.

Он погиб 27 августа, спускаясь с вершины Шхара.

Все было потрясено безвременной смертью этого красивого, мужественного парня, который ко всему умел и любил дружить.

Остались его замечательные снимки, теперь уже уникальные фотографии, воспоминания о нашей молодости...

Позднее, вспоминая Гурама Тиканадзе, Нодар однажды сказал мне:

— Смерть неизбежна, но Бог должен дать талантливому человеку возможность выразиться...

К великому сожалению, эти слова относятся уже и к Нодару.

Сколько замыслов унес он с собой, сколького не досказал...

1986—1990 гг.

Перевод Маки ИМНАДЗЕ



## РЕЦЕНЗИЯ

# ИЗ ГЛУБИНЫ

Сегодня приходят к нам книги — отблески внутренней свободы их авторов, свободы «тайной», если по Пушкину, или «затаенной», если по Булгакову. Создавались они без надежды на скорую публикацию, но с упованием на потомков.

Сегодня приходят к нам книги чаще из глубины оскорбленного сознания, чем из липкого марева подсознательных инстинктов. В этом сознании — их сила, но, одновременно, и уязвимость в потоке скоротечных дней. Такое свободное, но тайно закрепленное сознание, выйдя на волю, далеко не всегда находит сочувствие, которого заслуживает. Не вовремя сказанное слово, зачатое в контексте иной эпохи, часто не находит отклика в обновляющейся нови. Бывают, правда, исключения. Как правило, они касаются так называемых вечных тем, упакованных в надежные и устоявшиеся формы великих традиций.

Сказанное в какой-то мере можно отнести к поэтическому избранному Константина Герасимова под характерным названием «Из глубины» («Мерани», 1992).

Избранное охватывает сорок лет работы поэта (1947—1987). Но что означает сегодня смутная дата 1947? Или дата 1956, вселявшая в кого-то и когда-то надежду? А что стоит за годом 1964? Или, наконец, 1985?.. Счастливый потомок, если когда-либо таковой родится, сумеет ли он ответить себе на эти вопросы? А если да, то осознает ли он подспудную суть этих лет? Очевидно не просто вычленить из хронологии «эпоху».

Но читая «Из глубины» поэта К. Герасимова, я думал не о датах, ибо, как пишет поэт, «...в бараке зловонном — выкри-



ков хриплый гам. Посмей не выдавить сам что-либо казенное». Действительно, «посмей»... Ведь «...ложь источали матерей сосцы, питая ею скорченных младенцев». Выходит, с молоком матери впитывали в себя ложь целые поколения... Да и на личностном уровне однозначности тоже не было: один оправдывал ложью свой страх, другой видел в ней источник благополучия, третий искренне старался превратить ложь в истину... И поэзия обольщалась, высекая из утопий жгучие и подлинные строчки. Но чаще: «В совдеповских декретов жуть, карболки, лозунгов, портянок входила ты — свинцом ли в грудь, свинцом рассыпанных ли гранок». Рассыпанные гранки — не метафора. Это будни поэзии нескольких десятилетий. О поэтах, своих современниках, особенно старших, Герасимов скажет: «...расстреливали нас недаром в каждой подворотне». Очень важное уточнение «недаром», ибо было и отрицание, и бунт, а он, бунт, — гражданское бытие поэта.

Затаенное поэтическое становление К. Герасимова приходится на последние годы жизни Сталина, эпоху особенно коварную, поскольку цинизм, если он не замешан на фанатизме одноклеточных, тут же превращается в будничную работу. И тогда профессионал опирается на добровольную помощь подспудно звереющего обывателя. «Унижен в мире этом каждый, кто высок, и властвуют подонки...» — засвидетельствует поэт. Да, это было время, когда «...Христову милосердию» учили «...доносчик, инквизитор и палач». Никогда еще в русской поэзии не было такого застоя и кризиса, как именно в эти послевоенные годы. Из рукописей вытравлялось все живое, поэтому поэты или переводили, или писали в стол. После 1956 года, когда наступила «оттепель», довольно много хороших стихов перекечевало из столов в печать. Об этом приятно вспомнить, чтобы тут же огорчиться. Увы, та оттепель весны не сулила.

Стихи стали для Константина Герасимова «...благословенным тьмы бессонной» и записывал он их, «...внимая шагам охранников». Поэт вполне законно мог тогда подытожить: «В тупик загнав, пытается меня, распластанного, доконать эпоха». Он стал верить, что приговорен железным временем «...к пожизненному молчанию». Благо, официальное молчание обернулось для него золотом, залогом сбереженных для честных свершений сил. Так он ушел в глубину не только своего творческого «я», но и в глубину поиска исторических первопричин, о чем красноречиво свидетельствует следующий вздох: «Увы, напрасно я когда-то ступить без возмущенных

слов на чертежи моих кругов позволил римскому солдату». Не из Рима ли зловещие щупальца диктатуры тянутся до наших дней? Возможно, да, возможно, нет, но Поэзии достаточно намекнуть. В намеках ее оправдание.

Существует немало поэтических определений поэзии. То она «вся езда в неизвестное» (Маяковский), то «двух соловьев поединок» (Пастернак). Определение, которое дает ей Герасимов — точный слепок с эпохи его поэтического становления:

**Поэзия — Песнь Песней. Кляп во рту.  
Трусливого хслуйства словоблудье  
И высший Судия. И взятка судьям,  
И певчий дрозд, убитый на лету.**

Ему было из чего выбирать. Согласившись на «кляп во рту», он потянулся к библейской Песни Песней, другими словами, к мудрости, соседствующей с печалью, и дает совет: «Беспечней, мудрость, будь, печаль — мудрей».

Есть некое загадочное пространство, именуемое «миром поэта». Пространство это невидимо глазу, как невидима душа. Можно писать стихи, не будучи поэтом. Но нельзя им стать, не обладая собственным внутренним миром. И еще: у поэта есть судьба; она-то и моделирует и обустроивает каждый уголок в мире этом.

Мир Константина Герасимова заполнен книгами. Он вроде как бы в наследство ему достался. Следовательно, «...чтоб на ладони жил тех теплых литер след, что в руку мне вложил в своей печатне дед», поэт и стремится укорениться в нем. Отсюда внутренний трепет, ибо в мире том «...на буквы разложен экстаз», отсюда и естественность повеления: «Мани, заставка пышная главы, в глубь Эльдорадо!» Естественна и сама торжественность этих книжных палат, где «...бесконечности сияющая пыль зодиакальными узорами, без счета столетий, фолиантов, жизней или миль осела золотым тиснением переплетов»... Я особо настаиваю именно на естественности всех этих многочисленных интонационных оттенков, при помощи которых Герасимов описывает читателю свое рабочее место. Это не тот цех, где трудится литературой закомплексованный интеллигент, изготовитель мертвых подделок премудрости книжной, умный эпигон, оболыщенный книжным всезнайством в затхлом бумажном затворе. Нет, Герасимов стоит «...в одиночестве безмолвном у стен из книг, у книжных башен». Он не упивается, а «...впитывает все горше каждый

день», заключенную в книгах «...борьбу гордыни и смиренья», вникая «...в мертвый язык бессмертия». Здесь он «на ощупь» познает, «...как мраморная белизна тепла... теплей всего — в обломках». Так перед читателем разворачивается драматическая схватка затаенного творческого сознания с внешним миром бездуховности, метафорически воплощенным в образе «железного земного ада».

Для Герасимова книжные палаты — не рай и не затвор радости тихой книжника-монаха. Книжные пейзажи — скорее его чистилище, где происходит активное и мучительное преодоление самого себя, ибо «...быть одному мне под Стеною Книг — Стеною Плача». Вот где сердцевина книжного мира Константина Герасимова, вот где проходит драматический раздел между премудростью книжной и вечно зеленым деревом жизни. Его книжные Стены Плача символизируют распад и дисгармонию разобщенных между собой сосудов культуры. Поэт трудится, так как знает, что «...покоятся где-то не сожженные, уцелевшие, самые последние книги, в гробницах веков ожидавшие встречи со мной». Да, немало их сгорело. И не только в пожарах. Немало их пылало на рукотворных кострах вандализма. Но есть и «уцелевшие». В них — надежда, ибо в них — жизнь живая, цветение почек, голубизна небес, борозда в черноземе... И женщина. Вот и она вступила в книгохранилище: «Перчатки узкие брошены на бумаги мои небрежно... Заложены шпильками книги». А как приятно предложить ей: «Клади коробочку с пудрою — вот хотя бы на том Плутарха...»

Положа руку на сердце, скажу, что не всегда уютно чувствую себя в этом герметическом мире книг. Что поделаешь — у каждого свое. Жизнь моя — дорога. На ней и прочел я книги свои: в кузовах попутных грузовиков, на верхних полках вагонов, в самолетах и вертолетах, на вокзалах и аэродромах, на бесконечных трассах, ведущих куда-то и не приведших никуда. Читатель моего типа поймет мой дискомфорт в замкнутом книгами пространстве. Наверно поэтому непонятна мне та часть поэзии Константина Герасимова, которая посвящена научным гипотезам, его вдумчивому вчитыванию в достижения фундаментальных наук. Такие, например, терцины, как:

**Пусть судорожный сок случайности растленной  
Шифрует эозой микроструктурой геной  
Бесцелья — нравится тебе иль нет игра...**

— так и останутся для меня ребусами. Но дело ведь не во мне. Может мне эта «игра» и не нравится, но ведь и альтернативы-то ей нет. Есть хорошее выражение у Герасимова: «Прозрачный янтарь сонета». Действительно, этой формой он овладел в совершенстве. Однако в подобного рода сонетах, если «янтарь» и налицо, «прозрачности», увы, не вижу.

Итак, «...шуршат страницы хрупкие в руках — бессмертия всеведущие мощи». И здесь речь не о книгах как «источнике знания», а о сгустках той боли и тех муках, которые превращены в «мощи», достойные поклонения и христианского упования на исцеление от скверны «железного ада». Из своего чистилища, объятого «потопом тьмы», поэт «шепотом» вещает о бессмертии самой Поэзии и о бесстрашии всеведения, беспощадном в своей простоте, как «старые слова» из Книги Бытия.

Особое место в избранном Константина Герасимова занимают вопросы мастерства, ибо «...от сотворенья мира искали воплощения Слова». И тут же разъясняет: «...а я был недостоин их, едва на шаг вперед уйдя — от Кантемира». Разумеется, Антиох Кантемир возникает здесь не просто как веха у истоков новой русской поэзии, а скорее как принципиальный знак разграничения. Ведь именно в складках силлабической вязи кантемировских строчек впервые прорывается тоска по универсальности, по всепланетарному мировидению, ставшему чуть ли не магистральным направлением поэзии российской. Очевидно, не зря Велимир Хлебников присвоил себе звание Председателя Земного Шара. В поэзии К. Герасимова эта линия особенно подчеркнута обилием латинизмов, ренессансных эпиграфов, наплывами «католической ереси» и внешней «абракадаброй» современной научной терминологии. Однако непосредственное родство поэта с этим направлением, как подтверждают отнюдь не лучшие его строчки, следует искать в русском символизме. Цитирую:

**И лишь тебе во тьме Inferno  
Нетленной Розы рдеет знак.  
Ты не умрешь. Ты знаешь, как  
Поэт: Мечта лишь достоверна.**

К счастью, подобных строчек в избранном немного.

Культ мастерства знаменует собой как бы вторую магистральную линию книги. Здесь властвует во всем многообразии своих вариантных построений бессмертная форма сонета.

та. О большом цикле, своеобразной «книге в книге» под названием «Искусство умирать», можно говорить как об определенном и весьма красноречивом этапе в восприятии сонета в наши дни, когда вновь и под новым углом возникает проблема преемственности. Как уже не раз отмечалось, поэзия циклически свойственно шарахание от беспорядка к порядку, от свободы и расслабления к укреплению и обратно. Сторонник строгих форм, призывающий на помощь мудрость, Константин Герасимов как нельзя лучше изложил свое кредо в следующей строфе:

Не по одежке — по уму почет,  
Но мудрости, что кое-как одета,  
Достойней избегать дневного света,  
Пока ей Мастер платье не сошьет.

«Из глубины» — своеобразный поединок одиночки с окружающим мраком, зловещим «потопом тьмы». Хотелось бы верить, что это уже пройденный этап, что поэтический опыт Герасимова не подражания, а уважения достоин. Но есть и нечто роковое в судьбе поэта, когда он, по выражению Бодлера, «сам себе и жертва и палач». Увы, ни одна, даже самая «благополучная», эпоха не отменяет этой схватки с собой, схватки Орфея с Минервой, Моцарта с Сальери... Подтверждение этому можно найти и в избранном К. Герасимова: «Поэт и скорпион, я в круге из огня, стихов смертельный яд в самом себе несущий».

Даже если поэты окончательно сойдут со «спринтерской дистанции сонета», даже если им вконец надоест рифмовать — поэзия останется с поэтом как вечное клеймо обреченности на «каторгу чувств».

Гиви ОРАГВЕЛИДЗЕ



Тенгиз КЕШЕЛАВА

## Основоположник новейшей персидской литературы

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ САДЕКА ХЕДАЯТА)

**И**стория грузино-персидских литературных и культурных взаимосвязей имеет многовековую традицию. «Поэзия и культура способствовали духовной общности грузин и иранцев и вместо вражды сеяли любовь; мусульманская культура для грузин не являлась чуждой, они всегда уважали персидскую литературу, науку и искусство» (И. Джавахишвили. История грузинского народа). Многочисленные грузинские переводы свидетельствуют о большом интересе грузинских деятелей к культуре Ирана.

Представление о персидской литературе, давшей миру целую плеяду замечательных мастеров слова, будет неполным, если не сказать о Садеке Хедаяте. Наряду с Омаром Хайямом, Садек Хедаят — один из самых читаемых персидских авторов. Тиражи его книг огромны. Более полувека назад на книжной полке персидского читателя появились сборники рассказов С. Хедаята, и с тех пор его имя сияет в созвездии персидских мастеров слова. Художественная проза Садека Хедаята — свидетельство того, что литература Ирана имеет не только блистательное прошлое, но и прекрасное настоящее, и современная иранская литература приобретает все больше и больше читателей и поклонников.

До XIX века художественная проза Ирана была представлена дидактическими рассказами, сказочными романами, ис-

торико-героическими и фантастическими повестями и сказками.

Конец XIX — начало XX века — новый этап в развитии персидской прозы. В 20-х годах XX века возникает персидская новелла как жанр в современном его понимании. В ней получают творческое развитие богатые литературные традиции Ирана. Зачинателем ее считается Джамал-заде, но по художественным особенностям своего творчества он уступает непревзойденному мастеру персидского рассказа Садеку Хедаяту, с именем которого связано становление и развитие не только национальной литературы, но и культуры Ирана.


Богатое литературное наследие С. Хедаята свидетельствует о разносторонности его таланта, широкой эрудиции и имеет важное значение для изучения культуры Ирана.

С. Хедаят был блестящим новеллистом, драматургом, видным фольклористом и собирателем этнографических материалов, тонким знатоком и интерпретатором классической поэзии, вдумчивым исследователем литературы и переводчиком. С. Хедаят вошел в историю иранской культуры прежде всего как выдающийся новеллист, признанный мастер прозы.

Творчество С. Хедаята пользуется широкой популярностью у себя на родине и далеко за ее пределами. В 1958 году издательство Союза писателей Грузии «Заря Востока» опубликовало на русском языке книгу Т. Кешелава «Художественная проза С. Хедаята», которая была переведена на персидский язык. В 1990 году в издательстве ТГУ вышла на грузинском языке книга того же автора, посвященная жизни и деятельности С. Хедаята.

Лучшие произведения С. Хедаята, переведенные на многие языки мира, можно отнести к классике современной восточной литературы. Рассказы С. Хедаята в переводах на грузинский язык печатались в журналах, альманахах — «Мнатоби», «Цискари», «Армагани», «Хомли», «Саундже», «Нинанги», «Пионери» и т. д. Отдельными изданиями вышли рассказы С. Хедаята в издательстве «Накадули»: «Патриот» (1968) и «Живая вода» (1969), два сборника рассказов писателя: «Лале» в издательстве «Мерани» (1970) и «Огнепоклонник» в издательстве «Сакартвело» (1985). В последнем сборнике наряду с новеллами опубликованы пьеса, памфлеты, дневник путешествий, а также нашумевшая повесть «Слепая сова».

Садек Хедаят родился в феврале 1903 года в Тегеране в аристократической семье. Прадедом писателя был известный



поэт, историк и литературовед XIX века, директор первого светского учебного заведения Ирана Реза Кули-хан Хедаят, составитель поэтической антологии «Собрание красноречивых» и автор толкового словаря персидского языка. Детство и юность будущего писателя прошли в Тегеране. Начальное образование он получил в персидской школе, а среднее — во французском колледже Сан-Луи в Тегеране. В 1926 году С. Хедаят был направлен в Бельгию в Высшее училище гражданских инженеров. Через год, как государственный стипендиат, он переехал в Париж, где учился архитектуре. Убедившись, что ни та, ни другая профессия его не привлекают, С. Хедаят решил целиком отдаться литературе. Во Франции С. Хедаят углубил свои знания. Он хорошо владел арабским, английским и в совершенстве французским (с которого он не только переводил, но и писал на этом языке художественные произведения и статьи), изучил древние языки — санскрит, пехлеви и язык Авесты. С этой целью он познакомился с крупнейшими учеными, в том числе известным французским ученым Бенвенистом.


В 1930 году, возвратившись на родину, писатель был вынужден поступить на государственную службу. В 1930—1935 гг. С. Хедаят работал в Главном управлении экономики, в министерстве иностранных дел Ирана, в телеграфном агентстве «Парс». Происходя из аристократической семьи, имея обширное и влиятельное родство, Хедаят не использовал этого преимущества. Он довольствовался малым, заработанным собственным трудом.

В начале 30-х годов в Тегеране С. Хедаят создает литературный кружок, куда первоначально входили четыре писателя, которых объединяли общие убеждения, общие взгляды на будущее культуры страны. Вскоре к ним примкнули поэты, режиссеры, фольклористы и т. д. Характеризуя роль С. Хедаята в кружке, писатель М. Минови отмечал: «Мы боролись против фанатизма за свободу, и душой нашего кружка был С. Хедаят... Всех нас тянуло к нему, именно он спланировал членов нашего кружка».

Эта литературная группа сыграла важную роль в культурной жизни современного Ирана. В ней был объединен цвет иранской интеллигенции.

В 1930 году С. Хедаят публикует в Тегеране свой первый сборник рассказов «Заживо погребенный». Позднее издаются сборники новелл «Три капли крови» (1932), «Светотень» (1933) и исполненный национального колорита рассказ «Аля».





вийе-ханум». Через год в соавторстве с М. Фарзадом создается сборник памфлетов «Достопочтенная книга господина Вак-Вака». Эти книги С. Хедаята привлекли внимание общественности и явились вехами на пути развития персидской прозы.

В 1936 году писатель, преследуя научные цели, едет в Индию и там в течение года работает в библиотеках и музеях, усиленно штудировав богатую литературу эпохи Сасанидов, изучая среднеперсидский язык — пехлеви. С. Хедаят жил среди иранцев, исповедующих древнюю доисламскую религию — зороастризм. В Бомбее С. Хедаят написал две новеллы на французском языке, завершил и издал принесшую ему широкую известность повесть «Слепая сова». Первый период творчества С. Хедаята отмечен данью модернистским течениям («Смерть», «Заживо погребенный», «Слепая сова», «СГЛЛ», «Манекен в витрине» и др.). Писатель дает картины действительности в субъективном аспекте.

Импрессионистский метод писателя проявляется в слабо намеченной сюжетной линии, отсутствии твердых композиционных рамок и интриги конфликта, который заменен конфликтом психологическим, атмосферой иррационализма, нагнетанием ужаса. И хотя путь художника не был прямым и ровным, его всегда вела вперед мысль о судьбе своего народа, о будущем родины. В созданных в эти же годы новеллах «Лале», «Даш Аколь», «Горбатый Дауд» явственно звучит гуманизм Хедаята, его уважение к простому человеку, на обыденных фактах писатель показывает богатый внутренний мир, душевное благородство людей из народа, отстаивает их право на достойную жизнь, на любовь.

Рассказы «Стервятник», «Алявийе-ханум», «Исповедь» выявили новые черты мастерства писателя — динамичность сюжетной линии, колоритные жанровые и бытовые зарисовки, яркость речевой характеристики персонажей. В указанных произведениях прослеживается реалистическая тенденция, которая во второй период творчества С. Хедаята становится доминирующей.

После возвращения из Индии вплоть до 1941 года Хедаят не публикует ни одного художественного произведения, он вынужден ограничить свою деятельность научной и переводческой работой. Следует отметить осуществленное им в 1939 году в Тегеране издание критического текста памятника персидской литературы — исторического романа об Ардашире Папакане, основателе династии Сасанидов.

С 1941 года С. Хедаят работает в Институте изящных ис-



кусств и Тегеранском университете. 40-е годы — расцвет художественного творчества С. Хедаята. В суровые годы второй мировой войны писатель-демократ создает аллегорическую сказку «Живая вода» (1942), наполненную жизнеутверждающим оптимизмом, проникнутую непоколебимой верой в творческий гений народа. Выходят сборники его рассказов «Бродячий пес» (1942), «Распутство» (1944) и повесть «Хаджи-ага» (1945) — своего рода вершина сатирического мастерства писателя.

В 1944 году С. Хедаят приглашается на юбилейные торжества Ташкентского университета. В 1946 году он участвует в работе Первого конгресса писателей Ирана. В том же году в Париже выходит в свет пьеса С. Хедаята «Легенда о мироздании», написанная писателем еще в 1930 году во Франции. Иллюстрации этого антирелигиозного произведения выполнены Жаном Эффелем.

В тяжелые для Ирана годы репрессий и расправ с демократическим движением С. Хедаят остается на позициях борьбы за интересы своего народа и общечеловеческие идеалы. На приглашение приехать на Конгресс защитников мира в 1949 году С. Хедаят посылает телеграмму Жолио-Кюри, в которой пишет: «Империалисты превратили нашу страну в большую тюрьму, говорить и правдиво мыслить считается преступлением. Я приветствую Вашу идею борьбы за мир». Местные власти не пустили С. Хедаята на Конгресс. В результате тяжелой обстановки, создавшейся на родине, С. Хедаят в конце 1950 года выехал в Париж, надеясь найти там благоприятные условия для творческой работы. Но весной 1951 года жизнь выдающегося писателя Ирана трагически оборвалась в Париже.

Слава пришла к нему после смерти. В иранском литературоведении, а также в зарубежной иранистике о С. Хедаяте написано много. Все признают его крупнейшим писателем Ирана, талантливые художественные творения которого обогатили персидскую литературу. С. Хедаята называют основоположником новой персидской литературы, непревзойденным мастером персидского рассказа, путеводной звездой и т. д.

Яркая проза С. Хедаята оказала плодотворное влияние на иранских литераторов разных поколений. Рассказы С. Хедаята представлены во всех антологиях персидской прозы. Динамичность действия, насыщенный диалог способствовали инсценировке некоторых новелл С. Хедаята, они с успехом идут на сценах театров Ирана. Творчество писателя привлекло внима-



سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
جمهوری اسلامی ایران

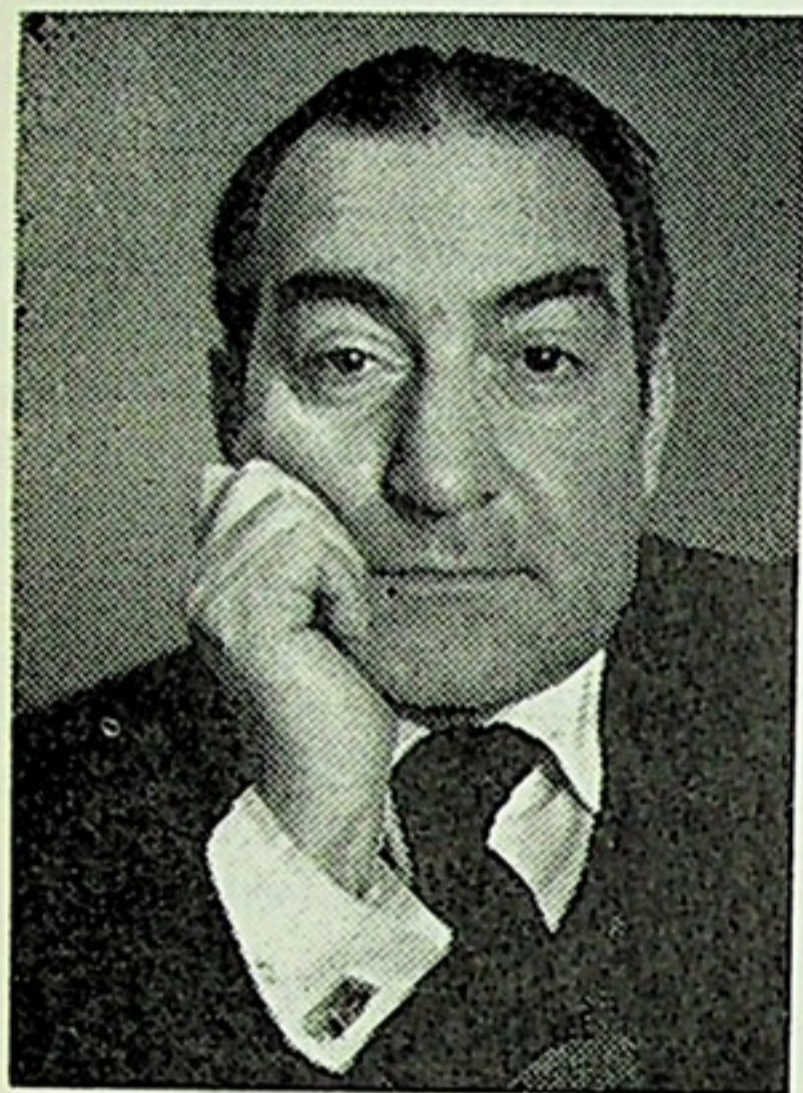
ние и живописцев. Видные иранские художники создавали портреты писателя. Эмоциональное звучание, лиризм новеллы «Лале» вдохновили известного иранского композитора П. Махмуда на изящную симфонию. Экранизирована новелла «Даш-Аколь». С. Хедаят был инициатором изучения персидского фольклора, всю жизнь он пропагандировал и исследовал сокровищницу народной мудрости. Изучение фольклора родной страны обогатило самого писателя, влияние народного творчества ощущается во многих художественных произведениях С. Хедаята.

Приобщение к европейской культуре, глубокое изучение основных принципов структурной организации, выработанных многовековой практикой иранской культуры, особенно литературы, и самобытной природы восточного фольклора — все это дало возможность С. Хедаяту создать замечательные образцы национальной новеллистики, выполненные на высоком профессиональном уровне. В художественном творчестве С. Хедаята слышен отзвук классической персидской литературы. Хафез и Хайям, великие поэты и мыслители средневековья, были источниками вдохновения С. Хедаята. В двадцатилетнем возрасте С. Хедаят издал стихи любимого поэта под названием «Четверостишия мудрого Омара Хайяма», а в 1934 опубликовал сборник стихов «Песни Хайяма». На этот раз четверостишия представлены не в алфавитном порядке, а сгруппированы по содержанию. Предисловие посвящено исследованию мировоззрения поэта.

С. Хедаят не имеет себе равного по богатству и разнообразию палитры среди современных писателей Ирана.



## Морис



**М**ОРИС был другом моего детства, мы жили в одном районе и учились в одной школе. Дружба, сохранившаяся со школьной скамьи, особенно дорога и отличается редкой преданностью.

Квартира Мориса была любимым местом, где собирались мы, его многочисленные друзья, своеобразным молодежным клубом и литературным салоном. Мы встречались здесь почти каждый день. Мама Мориса была удивительно доброй и гостеприимной женщиной. Позднее Морис посвятил ее памяти им же самим составленную и переработанную прекрасную книгу «Поэты

мира — матери». Детские и юношеские годы были, наверное, самыми прекрасными годами моей жизни. В послевоенной стране царили железная дисциплина, порядок и энтузиазм. Молодежь была массово увлечена спортом и поэзией. Часто устраивались олимпиады художественной самодеятельности, спортивные турниры. Духовная энергия нашего поколения не растрачивалась на политические страсти. Тогда мы и представления не имели о том, что означало слово «политика». Наша энергия находила выход в спортивных секциях, в литературных и научных кружках Дворца пионеров. Многие произведения художественной литературы, которые нас интересовали в те времена, было трудно достать. Поэтому мы часто обменивались друг с другом неоднократно прочитанными запрещенными книгами, что было тогда чуть не героизмом. Мы учились в шестом или седьмом классе, когда наша школа устроила юбилейный вечер Николоза Бараташвили. Я и Морис получили на этом вечере свое первое литературное крещение: мы прочли свои собственные стихи, посвященные великому грузинскому романтику.

Морис был удивительно деликатной и независтливой лично-

стью. Добрый и сострадательный, он и муравья не смог бы обидеть.

Как поэт Морис успел сделать многое. Жаль, что он не дожил до благоденствия Грузии, о котором мечтал с детства. Он посвятил себя служению народу, любви к близким, родным, знакомым и друзьям, просто людям. Но и сам заслужил огромную любовь. Его встречи с читателями превращались в настоящий праздник поэзии и музыки. Творческая деятельность Мориса Поцхишвили отмечена наградами не только родной страны, но и других стран. Он был одним из самых популярных поэтов в Грузии. В его творчестве последних лет проскальзывала духовная боль — превратности, выпавшие на долю его страны, человеческая озлобленность причиняли ему страдания, но он верил в будущее, видевшееся ему в мечтах.

От нас ушел достойный сын народа, но остались его книги, светлый след и вечная память.

Шота НИШНИАНИДZE



## Морису Поцхишвили

И для тебя настал закат безмолвный...  
Узор верийских улочек крутых  
Людского моря захлестнули волны —  
Сограждан опечаленных твоих.  
Тебя навек столица проводила,  
Любимый город твой осиротел.  
О, рыцарь песни, равный Автандилу,  
Созвучий талисманом ты владел.  
За облака звездой ясной канет  
Твоя душа, исполненная слез,  
И пред Тамар божественной предстанет  
Среди других неугасимых звезд.  
Прости, что мы надежды обманули,  
Что захлебнулись завистью, враждой,  
И не тюльпаны вешним днем, а пули  
Дарили братьям щедрою рукой.  
Светицховели, Господа кадило,

Охвачен грустью на закате дня...  
Как знак величья — Мориса могила  
В тебе, святая мцхетская земля!  
У нации на сердце камень стынет,  
Но воды Мтквари продолжают бег.  
Покойся с миром, Морис. Это имя —  
Бессмертие. Отныне и навек.

Заур БОЛКВАДЗЕ

Перевод Владимира Саришвили



---

## ХРОНИКА

Попытки грузинской стороны мирного урегулирования кровопролитного противостояния в Абхазии ни разу не принесли хоть сколько-нибудь положительного результата. За Московским итоговым соглашением (3 сентября 1992 года) последовало падение г. Гагра (2 октября 1992 г.), так как грузинской стороной, согласно этому соглашению, была выведена основная часть воинских формирований, расположенная на этой территории, чем не преминула воспользоваться абхазская сторона.

Гудаутская группировка полностью проигнорировала и очередное соглашение от 14 мая 1993 года о прекращении огня в Абхазии с 20 мая 1993 г. Выходит, что для гудаутской группировки миротворческий процесс — это всего лишь непродолжительная передышка для концентрации своих сил и наращивания военного потенциала.

Вечером 1 июля 1993 года абхазские вооруженные формирования начинают активные боевые действия на Гумистинском и Очамчирском направлениях, которым предшествовал массированный артобстрел грузинских позиций и мирных кварталов г. Сухуми, повлекший за собой жертвы среди мирного населения и большие разрушения.

В 6.00 ч. утра 2 июля в Очамчирском районе абхазская сторона высадила десант с моря. Задача десанта была: перерезать дорогу на Сухуми, взорвать мост через реку Кодори и в координировании с силами, пытающимися высадиться в акватории Су-

хуми, взять в кольцо осады столицу Абхазии. После ожесточенных кровопролитных боев десант частично выполняет наметенную перед ним задачу, заблокировав автомагистраль Сухуми—Очамчире.

В 8.00 ч. утра 2 июля г. Сухуми вновь подвергается массированному артобстрелу, во время которого впервые были применены снаряды объемного действия.

2 июля Э. Шеварднадзе обращается к Генеральному секретарю ООН с просьбой созвать заседание Совета Безопасности для рассмотрения ситуации в Абхазии. В тот же день Э. Шеварднадзе направляется в Сухуми для поддержания боевого духа защитников города и поддержки населения. Обстановка в Абхазии кригическая. Грузинским послам в России и США, а также нашим представителям в НАТО и СБСЕ поручается ознакомить с создавшимся положением все заинтересованные стороны.

Тяжелые кровопролитные бои идут днем и ночью. Враг приводит в действие все новые и новые силы. 3 июля так называемая Конфедерация народов Кавказа объявляет всеобщую мобилизацию резервистов в республиках Северного Кавказа, входящих в Российскую Федерацию, с целью их использования в вооруженном конфликте на территории Грузии. На военный аэродром Бомбора поставляется боетехника, оружие, боеприпасы, горючее. Наемное войско пополняется все новыми силами горских «конфедератов», казаков и приднестровских боевиков. В Перми для переброски в Абхазию готовится группа специального назначения численностью до 300 человек. На гудаутской стороне работают русские инструкторы высокого класса, у абхазских преступников имеется сверхсекретное высокоточное оружие с лазерным наведением и компьютерным обеспечением, находящееся на вооружении российской армии. Россия отрицает свою причастность к вооруженному конфликту в Грузии, однако ее граждане через границу проникают на территорию суверенной республики Грузия с целью участия в боевых действиях на абхазской стороне.

А тем временем в Москве идут трехсторонние переговоры о прекращении огня, ключевым вопросом которых выдвигается один и тот же вопрос о безусловном и незамедлительном выводе с территории Абхазии грузинских войск (вот только непонятно, почему Грузия должна выводить войска со своей же территории) с фактическим сохранением абхазских военных формирований (?). Т. е., предлагаются заведомо неприемлемые условия, делается все, чтобы сорвать подписание соглашения. Процесс переговоров используется абхазской стороной как ширма для отвлечения обще-

ственного мнения от своих агрессивных намерений, в то время как растет число жертв среди мирного населения, сравниваются с землей города и села Абхазии.

Вооруженный до зубов многочисленный десант яростно пытается замкнуть кольцо блокады Сухуми, безжалостно разрушая воздвигнутый нашими предками прекрасный город. Оснащенные новейшей боевой техникой, варвары не останавливаются ни перед чем, неся смерть и разрушения. И только благодаря чуду и беспримерному героизму и мужеству грузинских воинов удается сдерживать и обращать вспять орды наемных банд (17 процентов населения Абхазии при всем своем огромном желании не смогло бы иметь столь подготовленную армию).

К 10 июля грузинским вооруженным силам удается уничтожить профессиональный десант гудаутской группировки в количестве 1500 человек. благодаря чему открыта дорога Сухуми—Очамчире и снята блокада со столицы Абхазии. Безуспешные попытки высадить десант не прекращаются. Грузинская сторона несет огромные людские потери, истребляется генофонд нации, парализована экономика, общество пребывает в состоянии депрессии. Становится очевидным, что скорейшее урегулирование конфликта политическим путем — единственный оптимальный выход из затяжного кризиса, что продолжение военных действий приведет страну к катастрофе.

И вот, 27 июля 1993 года в г. Сочи в гостинице «Жемчужина» подписывается соглашение о прекращении огня в Абхазии и создание механизма контроля за его соблюдением. Соглашение подписали министр иностранных дел России А. Козырев, спикер парламента Грузии В. Гогуадзе и зам. председателя Верховного Совета Абхазии С. Джинджолия.

Документ этот очень трудно выработывался и еще труднее было его подписывать, но руководствуясь принципом доброй воли и стремясь прекратить дальнейшее кровопролитие, грузинская сторона пошла на все возможные уступки.

Сделана еще одна, уже третья за год, попытка поставить точку в братоубийственной войне. Первые две были сорваны, и это дорого обошлось грузинскому и абхазскому народам...



КОНТРОЛЬНЫЕ  
ЭКЗЕМПЛЯРЫ



Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

**Редакционная коллегия:**

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз  
БУАЧИДЗЕ, Нана КАНДЕЛАКИ, Камилла КОРИНТЭЛИ  
(зам. главного редактора), Лия СТУРУА, Георгий  
ЧАРКВИАНИ.

Технический редактор К. Кәүәлиев

Корректор И. Ахсахалян

---

Сдано в набор 10.12.93 г. Подписано к печати 31.01.94 г.  
Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Печать  
высокая. Печ. л. 7.0. Усл. печ. л. 11.97. Уч. издат л. 14.0.  
Тираж 350. Заказ 129. Цена 1000 куп.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в  
типографию издательства «Самшобло», по вопросам подписки и  
доставки журнала — в «Сакпрессу».

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, зам. главного редактора  
— 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43, 93-65-19,  
93-13-57.

---

Типография издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.



ქართული  
ბიბლიოთეკა

ИНДЕКС 76117

6 115/15

1000 куп.

საქართველოს ლიტერატურულ-მხატვრული და  
მხატვრულ-მეცნიერული ცენტრის  
„ლიტერატურა და ხელოვნება“  
(რუსულ ენაზე)  
საქართველოს მწერალთა კავშირის რბიანი  
გამოცემის 1957 წლის ივნისიდან